

A portrait of George Eliot, a young man with curly brown hair, wearing a dark turtleneck and a red coat with a fur collar. He is resting his head on his hand. The background is dark and indistinct.

ДЖОРДЖ ЭЛИОТ

Адам Бид

В поисках утраченного времени (Рипол)

Джордж Элиот

Адам Бид

«РИПОЛ Классик»

1859

УДК 821.111
ББК 84(4Вел)6-4

Элиот Д.

Адам Бид / Д. Элиот — «РИПОЛ Классик», 1859 — (В поисках утраченного времени (Рипол))

ISBN 978-5-386-09865-0

«Адам Бид» – дебютный роман знаменитой английской писательницы Джордж Элиот. Одно из самых известных произведений в мировой литературе, мгновенно ставшее популярным с момента публикации в 1859 году. Главный герой, Адам Бид – трудолюбивый, порядочный, обладающий сильной волей и добрым сердцем плотник. Он без памяти влюблен в прекрасную Хетти Соррель. Но девушка отвергает любовь Адама ради Артура, внука местного сквайра. Их тайные свидания приводят к трагическим последствиям, разрушившим тихую и безмятежную деревенскую жизнь. На русском языке роман выходил больше ста лет назад, и теперь он вновь доступен для читателей.

УДК 821.111
ББК 84(4Вел)6-4

ISBN 978-5-386-09865-0

© Элиот Д., 1859
© РИПОЛ Классик, 1859

Содержание

Книга первая	6
I. Мастерская	6
II. Проповедь	12
После проповеди	24
IV. Дом и домашние печали	28
V. Приходский священник	37
VI. Господская мыза	48
VII. Сырня	56
VIII. Призвание	60
IX. Мир Хетти	66
X. Дина посещает Лисбет	71
XI. В избе	78
XII. В лесу	84
Конец ознакомительного фрагмента.	89

Джордж Элиот Адам Бид

Перевод с английского журнала «Отечественные Записки», 1859–1860

© Издание, оформление. ООО Группа Компаний «РИПОЛ классик», 2017

Книга первая

I. Мастерская

Египетский чародей с одною только каплею чернил, которую он употребляет как зеркало, предпринимает открыть всякому нечаянному посетителю обширные видения прошедшего времени. То же самое предпринимаю и я относительно вас, читатель! С каплею чернил на конце моего пера я представлю вам просторную мастерскую мистера Джонатана Берджа, плотника и строителя в деревне Геслоп, в том виде, в каком она находилась восемнадцатого июня, в лето от Рождества Христова 1799-е.

Послеобеденное солнце сильно пекло пятерых работников, трудившихся над дверьми, оконницами и панельными обшивками. Запах соснового леса, распространявшийся от кучи досок, собранных за открытою дверью, смешивался с запахом кустов бузины, цвет которых, белый как снег, виднелся у самого открытого окна, находившегося с противоположной стороны мастерской; косые солнечные лучи светились сквозь прозрачные стружки, поднимавшиеся от твердого рубана, и ярко освещали тонкие нитки дубовой панели, которая была прислонена к стене. На куче этих мягких стружек устроила себе удобную постель обыкновенная серая овчарная собака и лежала, уткнув нос между передними лапами и по временам нахмуривая брови, чтоб бросить взгляд на самого высокого из пяти работников, вырезавшего щит в середине деревянной каминной доски. Этот работник обладал сильным баритоном, покрывавшим звук рубана и молотка; работник пел:

Awake, my soul, and with the sun
The daily stage of duty run;
Shake off dull sloth...¹

В это время понадобилось снять мерку, что требовало более сосредоточенного внимания, и звучный голос изменился в тихий шепот; но вдруг он раздался с новою силою:

Let all thy converse be sincere,
Thy conscience as the noonday clear².

Таким голосом могла обладать только широкая грудь; а широкая грудь принадлежала мускуловатому человеку футов шести росту. Его спина была так пряма, голова покоилась на плечах так ровно, что когда он приподымался для того, чтоб лучше обозреть свою работу, то походил на стоящего вольно солдата. Рукав, засученный выше локтя, обнаруживал руку, которая, очень вероятно, могла бы выиграть приз, назначаемый за подвиг, доказывавший силу, между тем как длинная гибкая кисть руки с широкими кончиками пальцев, казалось, годилась бы для художественных занятий. По своему высокому росту и крепкому сложению Адам был саксонец и оправдывал свое имя³; но черные, как смоль, волосы, цвет которых выступал

¹ Вспрянь, моя душа, и с первыми лучами солнца
Спешу на дневное поприще твоей обязанности;
Отжени от себя скучную
лень... Английский церковный гимн.

² Да будут искренни все твои отношения
И совесть, как полдень, чиста.

³ St. Beda, род. в 672 г. в Нортемберленде, воспитывался в бенедиктинском монастыре Св. Петра в Вермоуте, впоследствии сделался в монастыре Св. Павла в Ярро монахом, дьяконом и пресвитером. Он прозывался *veperabilis* (Почтенный) и известен своими историческими, богословскими и др. сочинениями. — *Здесь и далее примеч. пер.*

еще более при светлом бумажном колпаке, и пронизательные черные глаза, резко оттеняемые выдававшимися вперед и подвижными бровями, свидетельствовали и о присутствии кельтической крови. Он имел большое лицо с крупными чертами, которое нельзя было назвать красивым; но когда оно было спокойно, то имело выражение лица добродушного, честного человека.

С первого взгляда легко было узнать, что следующий работник был брат Адама. Он был почти одного с ним росту, у него были те же черты лица, тот же цвет волос и такое же сложение; но это самое фамильное сходство делало еще очевиднее замечательное различие, существовавшее в выражении лица и в фигуре обоих братьев. Широкие плечи Сета были несколько сгорблены, глаза серые; брови выдавались вперед не так, они не были столь подвижны, как брови брата; в его глазах выражалась не пронизательность, а доверие и кротость. Он сбросил свой бумажный колпак, и вы видите, что его волосы не густы и не жестки, как у Адама, а тонки и волнисты, так что вы вполне можете различить очерк его лба, выдающегося над бровью.

Ленивцы были уверены, что всегда получают от Сета какую-нибудь медную монету; но они никогда не обращались за тем же к Адаму.

Концерт инструментов и голоса Адама был наконец прерван Сетом. Последний, подняв дверь, над которою трудился с напряженным прилежанием, поставил ее к стене и сказал:

– Ну, вот, я на сегодня кое-как и покончил с моею дверью.

Все работники оставили работу и взглянули на говорившего. Джим Сольт, дюжий рыжеволосый детина, известный под именем рыжего Джима, перестал строгать, и Адам с чрезвычайным удивлением обратился к Сету:

– Как, неужели ты думаешь, что кончил дверь?

– Конечно, – может быть, сказал Сет в свою очередь с удивлением, – чего же еще недостает в ней?

Громкий смех, которым разразились другие три работника, привел Сета в смущение. Адам не участвовал в общем хохоте; но на лице его все же появилась легкая улыбка, и он более мягким тоном, нежели прежде, сказал:

– А ты и забыл панели.

Все снова залились хохотом. Сет ударил себя руками по голове и покраснел до самых ушей.

– Ура! – воскликнул небольшого росту живой малый, которого звали Жилистый Бен, выскочив вперед и схватив дверь. – Мы повесим дверь в конце мастерской и напишем на ней: «Работа Сета Биды, методиста». Послушай, Джим, подай-ка сюда горшок с красной краской.

– Стой! – сказал Адам. – Перестань дурачиться, Бен Кренедж! Ты сам, может быть, делаешь когда-нибудь такую же ошибку, как же ты будешь смеяться тогда?

– Ну, поймай-ка меня в этом, Адам! Еще пройдет довольно времени, пока моя голова будет набита учением методистов, – сказал Бен.

– Зато она часто бывает наполнена винными испарениями, а это еще хуже.

Несмотря на то, Бен взял уже в руки горшок с красной краской и собирался писать свою надпись, рисуя предварительно букву С по воздуху.

– Полно, говорю! – воскликнул Адам и, положив свои инструменты, шагнул к Бену и схватил его за правое плечо: – Оставь его в покое, или я вытрясу твою душу из тела.

Бен содрогнулся в железных объятиях Адама; но, несмотря на свой небольшой рост, он был очень задорен и не думал уступить. Левою рукою он вырвал кисть из обессиленной правой руки и сделал движение левою рукою, как будто желал совершить ею свой подвиг. В одну секунду Адам повернул его кругом, схватил за другое плечо и, толкая перед собою, так сказать, пригвоздил его к самой стене. Но тут вступился Сет:

– Оставь, Адам, оставь. Бен только шутит. Ведь он имеет право смеяться надо мною... Я сам должен смеяться над самим собою.

– Я до тех пор не оставлю его, пока он не даст мне обещания, что не тронет двери, – сказал Адам.

– Полно, Бен, – сказал Сет убеждающим тоном. – Не станем заводить ссоры из-за пустяков. Ты знаешь, Адам непременно захочет поставить на своем. Ты скорее повернешь телегу в узком месте, нежели заставишь Адама уступить. Скажи, что ты более не тронешь двери, и кончи эту историю.

– Я вовсе не боюсь Адама, – сказал Бен. – Но перестаяю только по твоей просьбе, Сет!

– Вот это умно с твоей стороны, Бен! – сказал Адам, смеясь и выпуская жертву из своих объятий.

Затем все они возвратились к своим работам; но Жилистый Бен, уступив в физической борьбе, решил отмстить за свое унижение насмешками.

– О чем же ты думал, Сет? – начал он. – О красивом личике пасторши или ее речи, что ты забыл о панели?

– Приди и послушай ее, Бен, – сказал Сет добродушно. – Она будет говорить проповедь сегодня вечером на Лугу; может быть, ты тогда и призадуматься о себе самом и выкинешь из головы эти грязные песни, до которых ты такой страстный охотник. Может быть, ты сделаешься верующим, а ведь это будет самым лучшим дневным заработком во всю твою жизнь.

– На все придет свое время, Сет! Я успею подумать об этом, когда буду вести оседлую жизнь: холостякам незачем хлопотать о таких важных заработках. Может быть, я стану свататься и ходить в церковь в одно и то же время, так, как ты делаешь, Сет; но ты не захочешь, чтоб я стал верующим и втерся между тобою и хорошенькою проповедницею и увез ее.

– Это не страшно, Бен, я уверен, что ни мне, ни тебе не удастся привлечь ее. Ты только приди и послушай ее, и тогда ты не будешь отзывать о ней так легкомысленно.

– Хорошо, я, пожалуй, приду послушать ее сегодня вечером, если не будет хорошего общества в «Остролистнике». На какой текст будет она проповедовать? Ты, может быть, расскажешь мне, Сет, если мне не удастся прийти вовремя. Не будет ли она проповедовать на следующий текст: «Кого пришли вы видеть? Пророчицу? Истинно, истинно, говорю вам, и более, нежели пророчицу... необыкновенно красивую молодую женщину»?

– Послушай, Бен, – мрачно произнес Адам, – оставь в покое слова Библии: ты уж зашел слишком далеко.

– Что-о, да разве ты уже обратившийся, Адам? Я думал, что ты глух к проповедям женщин.

– Нет, я не обращаюсь ни к чему. Я ничего не говорил о проповедях женщин; я говорю: оставь Библию в покое. У тебя есть собрание грязных шуток – не так ли? – которое ты считаешь чрезвычайно редким и которым ты очень гордишься? Ну, ты и трогай своими грязными пальцами эту книгу.

– Да ты стал таким же святым, как Сет. Я думаю, что ты отправишься сегодня на проповедь. Мне кажется, ты был бы отличным регентом певчих. Но я не знаю, что скажет пастор Ирвайн, когда узнает, что его большой фаворит Адам Бид сделался методистом.

– Не беспокойся, пожалуйста, обо мне никогда, Бен! Я так же намерен сделаться методистом, как и ты... разумеется, я думаю, что ты, скорее всего, обратишься к чему-нибудь дурному. Мистер Ирвайн очень хорошо понимает, что ему незачем вмешиваться в дела людей касательно религии. Он не раз говорил мне, что эти дела касаются их самих и Бога.

– Да, конечно; несмотря на то, он, однако ж, не очень то любит ваших диссидентов.

– Может быть. Я не очень-то люблю густой эль Джош-Тода, но я не мешаю тебе напиваться этим элем и делать глупости.

За этим ударом Адама последовал хохот; но Сет весьма серьезно заметил:

– Нет, нет, Адди, ты не должен сравнивать веру какого-либо человека с густым элем. Ведь ты знаешь, что учение диссидентов и методистов основывается на тех же началах, как и господствующая религия.

– Нет, Сет, я никогда не насмехаюсь над верою, которую исповедует кто-нибудь, какова бы она ни была. Пусть каждый поступает сообразно с своею совестью, вот и все. Я думаю только, что было бы лучше, если б люди, слушаясь своей совести, твердо держались своей церкви: им пришлось бы тогда учиться в ней многому. Но, с другой стороны, можно быть уж чересчур набожным; на этом свете мы должны заботиться еще о многом, кроме Евангелия. Посмотри на каналы, на водопроводы, на орудия, употребляемые в каменноугольных копях, на аркрейтовы⁴ мельницы в Кромфорде. Человек, по моему мнению, должен, кроме Евангелия, знать еще что-нибудь для того, чтоб уметь строить все эти предметы. Но послушай-ка некоторых из этих проповедников!.. подумаешь, что человек всю свою жизнь не должен делать ничего, как только лежать с закрытыми глазами и следить за тем, что происходит внутри него. Я знаю, что человек должен иметь слова Божие в сердце и что Библия есть слово Божие. Но что сказано в Библии? Там сказано, как Бог вдохновил работника, строившего скинию Завета, для того, чтоб он произвел всю резную работу и предметы, которые должна была сделать искусная рука. Вот каким образом смотрю я на это: дух Божий везде и всегда, в будни и в воскресные дни, в великих делах и изобретениях, в произведениях художеств и ремесел. И Бог дарует помощь нашему уму и рукам так же точно, как и нашей душе, и если человек делает работы вне своих рабочих часов – строит печь для своей жены для того, чтоб избавить ее от ходьбы в пекарню для печения своего хлеба, или роется в своем крошечном садике и сажает две картофелины вместо одной, – то таким образом он делает больше добра, и он так же близок к Богу, как если б он бегал за проповедником, молился и стонал.

– Прекрасно сказано, Адам! – сказал рыжий Джим, который в то время, когда говорил Адам, перестал строгать и подвинул вперед свою доску. – Такой отличной проповеди я давно уже не слышал. Она заставила меня вспомнить, что моя жена целый год надоедает мне и просит, чтоб я выстроил ей печь.

– В том, что ты сказал, много справедливого, Адам! – важно заметил Сет. – Но ты сам знаешь, что многие лентяи, слушавшие проповедников, которым ты приписываешь столько ошибок, именно от этого стали трудолюбивыми. Ведь по вине проповедника пустеет пивная, и если человек станет верующим, то он от этого не станет хуже работать.

– Иногда только он забывает, что к дверям нужна панель, не так ли, Сет? – сказал жилистый Бен.

– Ну, Бен, теперь ты будешь острить надо мною всю жизнь. Но религия в этом нисколько не виновата – виноват был Сет Бид, который всегда занимается тем, что болтает всякий вздор. Религия не исцелила его, и тем более мы должны сожалеть о нем.

– Не сердись на меня, Сет, – сказал жилистый Бен. – Ты прямой, добрый, веселый малый, все равно, помнишь ли ты о панелях или нет; но ты не должен щетиниться при всякой пустой шутке, как это делают некоторые из вашей братии, хотя они и считают себя умными.

– Сет, – сказал Адам, не обращая внимания на насмешку, направленную против него, – ты не должен сердиться на меня. Я вовсе не метил на тебя в том, что я говорил несколько минут назад. Один смотрит на вещи так, а другой иначе.

– Нет, нет, Адди, я знаю очень хорошо, что ты не сердишься на меня, – сказал Сет. – Ты похож на свою собаку Джин, которая иногда полагает на меня, а потом опять станет лизать руки.

Все молча работали несколько минут до тех пор, пока церковные часы не пробили шесть. Еще не успел замереть первый удар, как рыжий Джим бросил свой рубан и достал свой камзол; жилистый Бен оставил винт ввернутым до половины и кинул отвертку в свою корзинку

⁴ Аркрейт – известный изобретатель бумагопрядильной машины, живший в прошедшем столетии.

с инструментами; Тэфт, по прозвищу немой, который, согласно со своим прозвищем, сохранил молчание в продолжение всего предыдущего разговора, бросил в сторону молоток, который только что собирался поднять; Сет также выпрямил свою спину и уже протянул руку к бумажному колпаку. Один лишь Адам продолжал работать, как будто не случилось ничего. Но, заметив остановку инструментов, он взглянул и с негодованием сказал:

– Послушайте-ка. Я не могу оставаться спокойным, если вижу, что люди бросают свои инструменты в ту самую минуту, когда только что часы начинают бить, как будто они не находят в работе никакого удовольствия и боятся лишний раз ударить молотком.

Сет, видимо, смутился и медленнее стал приготовляться уйти, но немой Тэфт, прерывая молчание, сказал:

– Э, Адам, ты говоришь, как молодой человек. Тебе теперь двадцать шесть лет, а когда тебе стукнет сорок шесть, как мне, тогда ты не станешь так рваться к работе ни за что ни про что.

– Вздор, – сказал Адам все еще сердитым тоном. – Право, мне кажется, тут дело вовсе не в летах. Впрочем, я не думаю, что человек в твои лета должен быть вял. Я с негодованием вижу, если кто-нибудь опускает вниз руки как убитый, лишь только раздастся первый удар часов, как будто он не гордится своею работою и не находит в ней никакого наслаждения. И точильный камень будет вертеться несколько времени после того, как ты отойдешь от него.

– Ну, уж довольно, Адам! – воскликнул жилистый Бен. – Оставь каждого идти своей дорогой. Ты вот несколько минут назад находил ошибки в проповедниках, а ты сам очень любишь проповедовать. Ты, может быть, лучше любишь работать, нежели играть, а я лучше люблю играть, нежели работать. Это приходится тебе по вкусу... от этого тебе только больше дела.

С этою выходною речью, которую он считал весьма действительною, жилистый Бен накинул на плечо свою корзинку и вышел из мастерской, быстро сопровождаемый немым Тэфтом и рыжим Джимом. Сет медлил и пристально смотрел на Адама, как бы ожидая, что он ему скажет что-нибудь.

– Ты сперва зайдешь домой, а оттуда уже пойдешь на проповедь? – спросил Адам, взглянув на брата.

– Нет, я оставил шляпу и платье в квартире Билля Маскери. Я не приду домой раньше десяти часов. Может случиться, что я провожу домой Дину Моррис, если она пожелает этого. Ты знаешь, что ей не с кем будет прийти от Пойзер.

– В таком случае я скажу матери, чтобы она не ждала тебя, – сказал Адам.

– А ты сам не пойдешь к Пойзер сегодня вечером? – спросил Сет несколько робким голосом, собираясь выйти из мастерской.

– Нет, я пойду в училище.

До этого времени Джип лежал на своей удобной постели. Заметив, что другие работники стали уходить, он поднял голову и пристально следил за Адамом. Но лишь только последний успел положить в карман свою линейку и отвернуть передник набок, как Джип вскочил с своего места, подбежал к своему господину и стал пристально смотреть ему в лицо, терпеливо ожидая чего-то; если бы у Джипа был хвост, то он, без всякого сомнения, замахал бы им, но, лишенный этого средства выражать свои ощущения, он, подобно многим другим почтенным лицам, таким образом, по определению судьбы, казался флегматичнее, чем он был на самом деле.

– Что, ты уж ждешь корзинки, Джип, а? – сказал Адам, и в голосе слышалась та же мягкость, как в то время, когда он говорил с Сетом.

Джип прыгнул и тихонько залаял, как бы желая выразить:

– Конечно.

Бедняжка, в выражении своих чувств он не имел большого выбора.

Корзинка заключала в себе по будням обед Адама и Сета. Ни одно из официальных лиц, участвующих в какой-нибудь процессии, не обращает так мало внимания на своих знакомых, как делал Джип, когда он, с корзинкой, следовал по пятам за своим гос подином.

Выйдя из мастерской, Адам замкнул дверь, вынул ключ и снес его в дом, находившийся на другой стороне дровяного двора. То был низенький домик, покрытый гладкою серою соломою, с светло-желтыми стенами, имевший при вечернем свете весьма приятный вид. Оправленные в свинец окна были светлы и без пятнышек, ступенька перед дверью – чиста, как булыжник при отливе моря. На ступеньке стояла чистенькая старушка в полотняном темно-полосатом платье, с красным платком на шее и в полотняном чепчике; она разговаривала с пестрыми домашними птицами, которые, казалось, были привлечены к ней обманчивою надеждою на получение холодного картофеля или ячменя. Зрение старухи было, по-видимому, очень слабо, потому что она узнала Адама только тогда, когда он сказал:

– Вот ключ, Долли! Положите его, пожалуйста, в дом.

– Положу непременно. Не хотите ли, однако ж, войти, Адам? Мисс Мери дома, и мастер Бердж возвратится тотчас, он будет рад, если вы останетесь с ним ужинать, за это я ручаюсь.

– Нет, Долли, благодарю, я иду домой. Доброй ночи.

Адам, сопровождаемый по пятам Джипом, быстро и большими шагами удалился с дровяного двора и вышел на большую дорогу, которая проходила от деревни вниз по долине. Когда он достиг подошвы покатости, пожилой всадник, у которого был привязан сзади чемодан, остановил лошадь, поравнявшись с ним, и обернулся, чтоб проводить продолжительным взором плотного работника в бумажном колпаке, кожаных штанах и в темно-синих шерстяных чулках.

Адам, не подозревая приятного впечатления, которое произвел на всадника, скоро пошел по полям и запел гимн, весь день не выходивший у него из головы:

Let all thy converse be sincere,
Thy conscience as the noonday clear;
For God's all-seeing eye surveys
Thy secret thoughts, thy works and ways.⁵

⁵ Да будут искренни твои отношения
И совесть, как полдень, чиста;
Ибо всевидящее око Божие наблюдает
За твоими сокровенными помыслами, деяниями и путями.

II. Проповедь

Около трех четвертей седьмого в деревне Геслон, во всю длину ее небольшой улицы от Донниторнского Герба до кладбищенских ворот, обнаружилось необыкновенное движение; жители оставили свои помещения, побуждаемые к тому, очевидно, не одним лишь желанием понежиться на вечернем солнце. Донниторнский Герб стоял у входа в деревню, и небольшой хуторный и усадебный дворы, находившиеся сбоку и указывавшие на то, что к гостинице принадлежал изрядный участок земли, обещали путешественнику хороший корм как для него самого, так и для лошади. Это могло служить ему утешением в том, что поврежденная временем вывеска не позволяла ему хорошенько ознакомиться с геральдическими изображениями древней фамилии Донниторн. Мистер Кассон, хозяин гостиницы, уже несколько времени стоял у дверей, держа руки в карманах, становясь то на пятки, то на цыпочки и покачиваясь; его взоры были обращены на неогороженный участок, где на середине помещался клен, который, как было известно хозяину, был местом назначения мужчин и женщин важного вида, время от времени проходивших мимо его.

Личность мистера Кассона вовсе не принадлежала к числу обыкновенных типов, которые не заслуживают описания. С первого взгляда она, казалось, главнейшим образом состояла из двух сфер, относившихся друг к другу так же, как земля и луна, то есть нижняя сфера, казалось на простой взгляд, была в тринадцать раз больше верхней, которая, естественно, отправляла должность простого спутника и подчиненного. Но этим и ограничивалось сходство, потому что голова мистера Кассона вовсе не была сателлитом меланхолического вида – или «запятнанным шаром», как непочтительно отозвался о месяце Мильтон; напротив, голова и лицо были весьма гладки и имели совершенно здоровый вид; лицо, состоявшее главнейшим образом из круглых и румяных щек, между которыми нос и глаза образовывали такую незначительную связь и перерывы, что о них почти не стоило и упоминать, выражало радостное довольство, смягчавшееся только сознанием личного достоинства, которым была проникнута вся фигура. Это чувство достоинства нельзя было считать чрезмерным в человеке, находившемся целые пятнадцать лет в должности дворецкого «фамилии» и, в своем настоящем высоком положении, по необходимости часто имевшем дело с подчиненными. В последние пять минут мистер Кассон обдумывал в уме проблему: каким образом удовлетворить своему любопытству и отправиться на Луг, не лишаясь своего достоинства? Он уже отчасти разрешил задачу, вынув руки из карманов и вдвинув их в проймы своего жилета, затем наклонив голову на одну сторону и приняв вид презрительного равнодушия ко всему, что могло попасться ему на глаза, как вдруг его мысли обратило на себя приближение всадника, того самого, который незадолго перед тем останавливал свою лошадь и продолжительным взором провожал нашего знакомого Адама и который теперь подъезжал к дверям Донниторнского Герба.

– Возьми лошадь за узду и дай ей напиться, человек! – сказал путешественник парню в грубой блузе, вышедшему со двора при звуке лошадиного топота – Что у вас такое в вашей деревеньке, хозяин? – продолжал он, сходя с лошади. – У вас какое-то особенное движение.

– Да проповедь методистов, сударь! У нас распространился слух, что молодая женщина будет проповедовать на Лугу, – отвечал мистер Кассон дискантовым и удушливым голосом с некоторым жеманством. – Не угодно ли вам, сударь, войти и не прикажете ли чего?

– Нет, я должен ехать дальше в Дростер. Мне нужно только напоить лошадь... Но что же говорит ваш пастор о том, что молодая женщина читает проповеди прямо у него под носом?

– Пастор Ирвайн не живет здесь, сударь, он живет в Брокстоне, вон там за холмом. Дом священника здесь совсем развалился, сударь, так что господину нельзя жить в нем. Он приходит проповедовать по воскресеньям после обеда, сударь, и оставляет здесь свою лошадь. Это, сударь, серая лошадка, которую он высоко ценит. Он всегда оставлял ее здесь, сударь, еще

в то время, когда я не был хозяином Донниторнского Герба. Я не здесь родился, сударь, как вы легко можете узнать по моему произношению. В этой стороне, сударь, выражаются чрезвычайно странно, так что господам весьма трудно понимать их. Я, сударь, вырос среди господ, привык к их языку, когда еще был мальчишкой. Как, думаете вы, произносят здесь люди «hev'n't you?»⁶. Господа, известно, говорят: «hev'n't you?», ну, а здесь народ говорит: «hanna ueu». Так, как они говорят здесь, сударь, это называется *диалект*. Я слышал, что сквайр Донниторн не раз говорил об этом: это, говорил он, *диалект*.

– Так, так, – сказал чужестранец, улыбаясь. – Я очень хорошо знаю это. Но я не думаю, чтоб у вас тут было много методистов... в вашем земледельческом местечке. Я даже предполагал, что трудно найти между вами методиста. Ведь вы все фермеры, не правда ли? А ведь методисты имеют мало влияния на это сословие.

– Нет, сударь, здесь в окрестности живет множество рабочих. Здесь живет мистер Бердж, которому принадлежит лесной двор, вот этот; он занимается постройками и починками, и у него много работы. Потом неподалеку отсюда находятся каменоломни. Нет, в этой стороне есть много работы, сударь! Потом, здесь есть славная куча методистов в Треддльстоне... Это ярмарочный город, милях в трех отсюда... вы, может быть, проезжали через него, сударь! Их набралось теперь здесь несколько десятков на Лугу. Оттуда-то наши рабочие и набираются этого учения, хотя во всем Геслоне только два методиста: это Вилл Маскри, колесник, и Сет Бид, молодой человек, занимающийся плотничной работою.

– Следовательно, проповедница из Треддльстона, не так ли?

– Нет, сударь, она из Стонишейра, около тридцати миль отсюда. Но она приехала сюда погостить к мистеру Пойзеру на мызе... Это вот их риги и большие ореховые деревья, все прямо на левой руке, сударь! Она родная племянница жены Пойзера, и Пойзеры будут очень недовольны и огорчены тем, что она так дурачится. Но я слышал, что когда в голову этих методисток заберется такой вздор, то их нельзя удержать ничем: многие из них делаются совершенно сумасшедшими со своей религией. Впрочем, эта молодая женщина с виду очень кроткая. Так, по крайней мере, мне говорили, сам я ее не видел.

– Жаль, что у меня нет времени и что я должен ехать дальше: мне хотелось бы остаться здесь и посмотреть на нее. Я удалился с своей дороги на целые двадцать минут, желая осмотреть ваш дом в долине. Он, кажется, принадлежит сквайру Донниторну, не так ли?

– Да, сударь, это охотничье место Донниторна, совершенно так. Славные дубы, сударь, не правда ли? Я уж должен знать, что это такое, сударь, потому что жил у них дворецким целые пятнадцать лет. Наследник всего этого теперь капитан Донниторн, сударь, внук сквайра Донниторна. Он будет совершеннолетним к нынешней жатве, сударь, вот тогда уж будет праздник на нашей улице. Ему, сквайру Донниторну, принадлежит вся окрестность здесь, сударь!

– Да, прекрасное местечко, кому бы оно там ни принадлежало, – сказал путешественник, садясь на лошадь. – И здесь водятся также красивые, стройные ребята. Я встретил парня, какого мне еще не удавалось видеть в жизни, с полчаса назад у подошвы холма... плотник, высокий, широкоплечий малый, черноволосый и черноглазый. Он был бы отличный солдат. Нам нужен такой народ, как этот малый, чтоб бить французов.

– Знаю, сударь, про кого изволите говорить, это был Адам Бид... готов побожиться, что это был он... сын Матвея Бида... все здесь знают его. Он чрезвычайно сметливый, старательный парень и удивительно силен. Ей-богу, сударь... извините, что я говорю таким образом... он в состоянии пройти сорок миль в день и поднимет около шестидесяти стонов⁷. Его очень любят здешние господа, сударь, капитан Донниторн и мистер Ирвайн очень заботятся о нем. Но он немного задирает нос и важничает.

⁶ Трактирщик говорит простонародным языком: «havn't you», вместо «have not you».

⁷ В стоне от 8 до 16 английских фунтов.

– Ну, прощайте, хозяин! Мне надо ехать.

– К услугам вашим, сударь! Прощайте.

Путешественник пустил свою лошадь скорою рысью по деревне; но когда он доехал до Луга, то очаровательное зрелище, представившееся ему с правой стороны, странный контраст, образуемый группами поселян и собранием методистов близ клена, а больше всего, может быть, желание увидеть молодую проповедницу искушали его до такой степени, что он остановился и подавил в себе страстное желание совершать свой путь как можно скорее.

Луг находится в конце деревни, и там дорога расходилась по двум направлениям: одна вела вверх на холм, мимо церкви, другая прелестными извилинами шла вниз по долине. С той стороны Луга, которая была обращена к церкви, помещались непрямою линией крытые соломою избы и доходили почти до кладбищенских ворот; с другой же, северо-западной стороны ничто не препятствовало наслаждаться видом прелестного волнистого луга, лесистой долины и мрачной массы отдаленных гор. Богатая, волнистая область Ломшейр, куда входила деревня Геслоп, граничит с мрачным предместьем Стонишейр, голые холмы которого господствуют над областью. Так иногда вам случается увидеть, что красивая, цветущая здоровьем и молодостью девушка идет под руку с неуклюжим, высоким, смуглым братом. В два или три часа езды путешественник проезжает открытую, лишенную деревьев область, пересекаемую полосами холодного серого камня, вступает в другую, где его путь лежит извилинами под кровом лесов или извивается по волнистым холмам, покрытым рядами деревьев, высокою луговой травой и густою рожью, и где при каждом повороте встречаешь старую дачу, расположенную в долине или на вершине покатости, или дом с целою цепью сараев и кучею золотистых стогов, или старую колокольню, виднеющуюся над множеством деревьев и крыш, покрытых соломою и темно-красными черепицами. Такое зрелище, какое мы изобразили в последних двух строках, представляла церковь деревни Геслоп нашему путешественнику, когда он стал подыматься по отлогому откосу, который вел на веселую вершину. Находясь близ Луга, он мог сразу вполне обозреть все другие типические черты очаровательной страны. На самом горизонте виднелись обширные, конической формы массы холмов, походившие на исполинские ограды, назначенные для защиты этой хлебной и полевой области от резких и свирепых северных ветров. Холмы находились в небольшом отдалении и потому не были одеты в пурпуровый таинственный цвет; на их темных зеленоватых откосах ясно виднелись овцы, о движении которых, конечно, можно было только догадываться. Время текло своим чередом, а эти массы не отвечали никаким переменам, всегда оставались мрачными и пасмурными после утреннего блеска, быстрого света апрельского полудня, прощального малинового сияния летнего солнца, заставляющего созреть плоды. Непосредственно за ними глаз отдыхал на ближайшей черте повисших лесов, разделявшихся широкими полосами пастбищ или полосами хлеба, еще непокрытых однообразною лиственной завесой последних летних месяцев, но все-таки показывавших жаркий цвет медового дуба и нежную зелень ясеневоего дерева и липы. Затем следовала долина, где леса были гуще, как будто они торопливо скатились вниз на покатости с полос, оставшихся гладкими, и поместились здесь для того, чтоб лучше защитить высокий дом, возвышавший свои стены и посылавший свой слабый голубой летний дым в их сторону. Впереди дома был обширный парк и довольно большой чистый пруд; но волнистая покатость поляны не позволила нашему путешественнику видеть их со стороны деревенского луга. Вместо этого он видел первый план картины, который был также очарователен: ровные солнечные лучи проникали, подобно прозрачному золоту, между наклоненными стебельками пушистой травы и высоким красным щавелем и между белыми зонтиками цикуты, испещрившими густую загородь. Лето было в той поре, когда звук точимой косы заставляет нас с сожалением смотреть на осыпанные цветами луга.

Он мог бы увидеть другие красоты ландшафта, если б немного повернулся на седле и посмотрел на восток, за пастбище и лесной двор Джонатана Берджа, по направлению к зеле-

ным хлебородным полям и ореховым деревьям близ мызы; но ясно было, что живые группы, находившиеся близ него, интересовали его более. Здесь были все поколения деревни, начиная с дедушки Тафта, в темном шерстяном колпаке, который был сгорблен в три погибели, но, казалось, был еще довольно живуч и мог держаться на ногах немало времени, опираясь на свою короткую палку, до грудных детей, вытягивавших маленькие круглые головки в стегаемых полотняных шапочках. Постепенно прибывали новые лица – поселяне с тяжелой походкой, которые, поужинав, выходили посмотреть на необыкновенную сцену тупым бычачьим взором, желая услышать, каким образом другие будут объяснять сцену, но сами не решаясь сделать какой-либо вопрос. Все, однако ж, старались не смешаться с методистами на Лугу, ожидавшими проповеди, потому что никто из них не допустил бы взвести на себя обвинения, будто он пришел послушать «проповедницу»: все они пришли только для того, чтоб увидеть, «что тут будет происходить». Мужчины главнейшим образом собрались около кузницы. Но не думайте, чтоб они образовывали толпу. Поселяне не толпятся никогда: они не знают, что значит шептаться; они, по-видимому, так же неспособны тихо выразиться, как корова или олень. Истый крестьянин поворотится спиной к своему собеседнику, бросит вопрос из-за плеча, как бы думая убежать от ответа, и в самом разгаре беседы отойдет от вас два-три шага в сторону. Таким образом, группа, находившаяся близ дверей кузницы, вовсе не была сомкнута и не образовывала плотного забора перед Чадам Кренеджем, самим кузнецом, который, опираясь на дверной косяк и скрестив черные дюжие руки, по временам раздражался страшным ревом хохота над собственными остротами, видимо предпочитая их насмешкам Жилистого Бена, отказавшегося от удовольствий «Остролистника» для того, чтоб увидеть жизнь в новой форме. Но оба рода острот заслуживали одинаковое презрение мистера Джошуа Ранна. Кожаный фартук и подавленная угрюмость мистера Ранна никого не оставляли в сомнении, что он был деревенский башмачник. Выпятившиеся подбородок и живот и вертящиеся большие пальцы более тонким образом заставляли незнакомых, чужих людей предполагать, что они находятся в присутствии приходского дьячка. Старым Джошкой (так непочтительно называли его соседи) начинало овладевать негодование; но он до этих пор произнес только густым, но сдержанным басом, походившим на достраивание виолончели: «Сетона, царя аморейска, ибо милость его во веки; Ога, царя вазанска, ибо милость его во веки» – изречение, которое, казалось, имело очень мало отношения к настоящему случаю, но которое, как и всякая другая аномалия, было естественным следствием, как вы, читатель, увидите. Мистер Ранн внутренне поддерживал достоинство церкви пред лицом этого соблазнительного вторжения методизма, и так как это достоинство, по его мнению, могло быть поддержано только его звучным голосом, то очень естественно, что первой идеей его было привести цитату из псалма, который он читал в последнее воскресенье после обеда.

Так как женщины были любопытнее мужчин, то они собрались на самой границе Луга, где они лучше могли рассмотреть костюм, походивший на костюм квакеров, и странное поведение методисток. Под кленом стояла небольшая тележка, которая была взята у колесника и должна была служить кафедрой; около нее были расставлены несколько скамеек и стульев. Некоторые из методистов сидели на них с закрытыми глазами, как бы погруженные в молитву или в размышление. Другие продолжали стоять, обратившись к поселянам лицом, на котором выражалось меланхолическое сострадание, что чрезвычайно забавляло Бесси Бренедж, живую дочь кузнеца, называемую «Чадова Бесс». Она удивлялась, почему эти люди строили такие скучные физиономии. Чадова Бесс была предмет особенного сострадания, потому что волосы, зачесанные назад и прикрытые на самой макушке головы чепчиком, показывали украшение, которым она гордилась больше, нежели своими румяными щеками, именно две большие круглые серьги с фальшивыми гранатами. Эти украшения были предметом презрения не только методистов, но и ее родной кузины и тетки Тимофеевой Бесс, которая с истинно родственными

чувствами часто выражала опасение, чтоб эти серьги не довели ее до чего-нибудь дурного, в душе своей желая совершенно противоположного.

Тимофеева Бесс, сохранившая девичье прозвище между своими короткими знакомыми, уже давно была женою Рыжего Джима и обладала порядочным запасом драгоценностей, составляющих принадлежность замужней женщины. Из них достаточно будет упомянуть о плотном грудном ребенке, которого она качала на руках, и о здоровом пятилетнем мальчике в коротких, по колено, штанах и с голыми красными ногами, на шее у которого висела ржавая молочная кружка наподобие барабана и которого особенно обегала небольшая собачка Чада. Эта юная масличная ветвь славилась под именем Бен Тимофеевой Бесс. Бен Тимофеевой Бесс имел весьма любознательный нрав и не стеснялся ложным стыдом. Он вышел из группы женщин и детей, расхаживал между методистами, смотрел им прямо в лицо, открыв рот, и в виде музыкального аккомпанемента ударял палкой в молочную кружку. Но когда одна из пожилых женщин с важным видом наклонилась к нему и в увещание хотела взять его за плечо, то Бен Тимофеевой Бесс сначала лягнул ее изо всей мочи, а потом дал тягу и искал убежища за ногами своего отца.

– Ах ты щенок этакой! – сказал Рыжий Джим с некоторой отеческою гордостью. – Если ты не будешь держать палку спокойно, то я отниму ее у тебя. Как ты смеешь так лягаться?

– Подай его сюда, ко мне, – сказал Чад Кренеджу. – Я его свяжу и подкую, как лошадь... А! мистер Кассон, – продолжал он, увидя трактирщика, медленно подходившего к группе мужчин, – как поживаете? Что, вы также пришли стонать? Говорят, люди, слушающие методистов, всегда стонут, как будто они повреждены внутренне. Я буду рычать так, как рычала ваша корова намедни ночью, – вот тогда проповедник уверится, что я на истинном пути.

– Я советую вам не делать глупости, Чад! – сказал мистер Кассон с некоторым достоинством. – Пойзеру не будет приятно, если он услышит, что с племянницею его жены обращаются непочтительно, хотя он сам, может быть, не очень-то доволен, что она взялась читать проповедь.

– Ну, да ведь она и недурна собой, – сказал Жилистый Бен. – Что до меня, то я очень люблю проповеди хорошеньких женщин: я знаю, что они убедят меня гораздо скорее, нежели проповеди безобразных мужчин. Мне вовсе не покажется странным, если я сделаюсь методистом сегодня же вечером и стану ухаживать за проповедницей, как Сет Бид.

– Ну, Сет, кажется, задирает нос слишком высоко, – сказал мистер Кассон. – Не думаю, что ее родня останется довольна, если она станет смотреть на простого плотника.

– Полно, так ли? – сказал Бен высоким дискантом. – Какое же дело родне до этого?.. Это не касается до них ни на волос. Пусть себе Пойзерова жена задирает нос и забывает прошлое, но Дина Моррис, рассказывают, бедна... работает на мельнице и едва в состоянии содержать самое себя. Статный молодой плотник, да к тому же методист, как Сет Бид, был бы для нее хорошею парой. Ведь Пойзеры заботятся же об Адаме Биде как о своем родном племяннике.

– Вздор, вздор! – сказал Джошуа Раин. – Адам и Сет два совершенно различные человека; им обоим не сошьешь сапога на одной и той же колодке.

– Может быть, – сказал Жилистый Бен презрительно. – Но для меня Сет лучше, хотя бы он был методистом вдвое больше теперешнего. Сет обезоружил меня совершенно: я дразнил его сегодня все время, что мы работали вместе, и он терпел мои шутки, как ягненок. Притом же он смелый малый: мы однажды ночью шли с ним по полям и вдруг увидели горящее дерево, которое приближалось к нам; мы думали, что леший хочет подшутить над нами, и уже собрались бежать, как Сет, не задумываясь, бросился вперед так же смело, как констебль. А! да вот он вышел от Билля Маскри; да вот и сам Билль с таким кротким видом – подумаешь, что он не смеет ударить гвоздя по шапочке, боясь испортить его. А вот и красивая проповедница! Ей-ей, она сняла свою шляпку. Я пойду поближе.

Несколько человек последовали примеру Бена, и путешественник на лошади также приблизился к Лугу, в то время как Дина – впереди своих подруг – довольно быстро подходила к телеге, находившейся под кленом. Когда она проходила мимо высокого Сета, то казалась очень небольшого роста; но когда она поместилась на телеге, где ее нельзя было сравнить ни с кем, то ее рост, казалось, был выше среднего женского, хотя в действительности не превосходил его. Этим она была обязана своей тоненькой фигуре и простенькому черному платью. Чужестранец пришел в изумление, когда увидел, как она приблизилась к телеге и взошла на нее: его изумила не столько женская грациозность ее появления, сколько совершенное отсутствие в ее наружности мысли о себе. Он представлял ее себе иначе, он предполагал, что она станет выступать мерными шагами, что ее наружный вид будет проникнут важною торжественностью; он был уверен, что на ее лице увидит улыбку сознательной святости или грозную горечь. Он знал только два типа методистов: восторженных и желчных. Но Дина шла так просто, как будто отправлялась на рынок, и, по-видимому, вовсе не думала о своей наружности, как маленький мальчик: в ней не было заметно ни особенной краски на лице, ни трепета, которые говорили бы: «Я знаю, что вы меня считаете хорошенькою женщиною, которая еще слишком молода для того, чтоб проповедовать»; она не поднимала и не опускала век, не сжимала губ, не держала так рук, как бы для того, чтоб выразить: «Но вы должны смотреть на меня как на святую». Она не имела никакой книги в руках, которые были без перчаток; она опустила руки и несколько скрестила их перед собою, когда остановилась и своими серыми глазами смотрела на народ. В глазах не было заметно ни малейшей пронизательности; они, казалось, скорее проливали любовь, а не старались заметить, что происходило вокруг; судя по их мягкому выражению, все мысли их владельницы были обращены на то, что предстояло ей совершить, и внешние предметы не имели на нее никакого влияния. Она стояла, обратившись левою стороною к заходившему солнцу, от лучей которого защищали ее покрытые листьями сучья, при мягком свете нежный колорит ее лица, казалось, имел какую-то спокойную яркость, подобно цветам вечером. Она имела небольшое овальное лицо равной прозрачной белизны, контур щек и подбородка напоминал форму яйца, у нее был полный рот, по которому, однако ж, можно было заключить о ее твердом характере, ноздри ее были очерчены изящно, лоб низок и прям, окруженный гладкими локонами светло-русых волос. Волосы были просто зачесаны за уши и прикрыты дюйма на два от бровей квакерскою сеточкою. Брови такого же цвета, как волосы, были совершенно горизонтальны и очерчены твердо, ресницы не темнее бровей, длинны и густы – одним словом, ничто не было смазано или не окончено. Лицо ее принадлежало к числу таких, которые заставляют вспомнить белые цветы с легко подрумяненными чистыми лепестками. Вся красота глаз заключалась в их выражении; они дышали такою простотой, такою искренностью, такою истинною любовью, что перед ними не могли не смягчиться ни грозный неодобряющий взор, ни легкая насмешка. Джошуа Ранн продолжительно кашлянул, как бы прочищая горло для того, чтоб лучше переварить новые мысли, которые теперь представились ему. Чад Кренедж снял кожаную шапочку, прикрывавшую макушку, и почесал в голове, а Жилистый Бен удивился, откуда бралась у Сета смелость даже подумать ухаживать за проповедницей.

«Что за милое существо! – подумал незнакомец. – Но вот уж природа никогда не думала сделать из нее проповедницу, я уверен в том».

Он, может быть, принадлежал к числу людей, предполагающих, что природа имеет театральные свойства и, с целью облегчить искусство и психологию, «сочиняет» свои характеры, так что в них нельзя ошибиться. Но Дина начала говорить.

– Друзья! – сказала она ясным, но негромким голосом. – Помолимся о благословении. – Она закрыла глаза и, несколько опустив голову, продолжала тем же мерным голосом, как бы разговаривая с кем-то, находившимся в недалеком от нее расстоянии: – Спаситель наш от грехов! Когда бедная женщина, отягощенная грехами, подошла к колодцу для того, чтоб достать воды, она нашла тебя сидящим у колодца. Она не знала тебя, она не искала тебя, ум ее был

помрачен, жизнь ее была нечестива. Но ты заговорил с нею, ты коснулся ее, ты показал ей, что ее жизнь лежала открытою перед тобою, и между тем ты готов был дать ей благословение, которого она никогда не искала. Иисусе! Ты находишься среди нас, и ты знаешь всех людей: если здесь есть люди, подобные той бедной женщине, если их ум омрачен и жизнь нечестива, если они пришли, не ища тебя, не желая научиться, яви им ту же беспредельную благодать, которую ты явил ей. Вразуми их, Господи, отвержи им слух, чтоб они поняли мои слова, открой перед их умом их грехи и заставь их жаждать спасения, которое ты готов ниспослать им. Господи! Ты всегда находишься с избранными твоими: они видят тебя в ночное бдение, и душа их пылает внутри их, когда ты глаголешь им. И ты приближаешься к тем, которые не знали тебя, отвержи им глаза, да увидят тебя... да увидят тебя, плачущего над ними и говорящего: «Вы не хотите прийти ко мне и получить жизнь...», да увидят тебя распятого на кресте и говорящего: «Отче, прости им, они не ведают, что творят», да увидят тебя приходящего со славою судить их. Аминь.

Дина снова открыла глаза, замолчала и обратила взор на группу поселян, которые между тем ближе придвинулись к ней с ее правой стороны.

– Друзья! – продолжала она, несколько возвысив голос. – Все вы были в церкви и, я думаю, должны были слышать эти слова, читанные священником: «Дух Божий на мне, ибо он помазал меня возвестить Евангелие нищим». Эти слова произнес Иисус Христос... Он сказал, что пришел «возвестить Евангелие нищим». Не знаю, думали ли вы когда-либо об этих словах, но я расскажу вам, когда я услышала их в первый раз. В такой же вечер, как сегодня, как я была маленькой девочкой, тетка моя, воспитавшая меня, взяла меня с собою послушать доброго человека, проповедовавшего народу, который собрался на поле, как мы теперь здесь. Я очень хорошо припоминаю его лицо: он был человек очень старый и имел очень длинные седые волосы, его голос был очень мягок и приятен. Такого голоса мне не удавалось слышать в жизни до того времени. Я была маленькой девочкой и почти ничего не знала, и этот старик, казалось мне, так отличался от всех людей, которых я только видела до того времени, что я спрашивала себя: не сошел ли он с неба проповедовать нам? – и сказала: «Тетушка, он опять возвратится на небо сегодня вечером, как на картинке в Библии?» Этот человек Божий был мистер Веслей, который провел всю свою жизнь, делая то, что делал наш Господь... проповедовал Евангелие нищим... Он преставился в вечность восемь лет тому назад. Я узнала о нем побольше уже несколько лет спустя, но в то время я была глупою, безрассудною девочкой и помню только одно из всей речи, которую он сказал нам. Он сообщил нам, что «Евангелие» означает «благовестие», то есть добрую весть или радостную весть. Вы знаете, Евангелие значит то, что говорит нам о Боге Священное Писание.

Размыслите же об этом! Иисус Христос снизошел истинно с небес, подобно тому, как я, будучи неразумным ребенком, думала о мистере Веслее, и шел для того, чтоб сообщить благие вести о Боге нищим. Я и вы, дорогие друзья, нищие. Мы были воспитаны в бедных избах, выросли на овсяном хлебе и вели грубую жизнь; мы не находились долго в школе, не читали много книг и знаем только то, что происходит около нас. Мы принадлежим к числу тех именно людей, которым нужно слышать добрые вести. Ибо те, которым жить хорошо, не слишком заботятся о том, чтоб услышать добрые вести с небес; но когда бедный человек или бедная женщина находятся в затруднительном положении и должны тяжко трудиться для того, чтоб жить, то они рады получить письмо, из которого узнают, что у них есть друг, желающий помочь им. Конечно, мы не можем не знать кое-чего о Боге, если даже и вовсе не слышали Евангелия, добрых вестей, которые принес нам наш Спаситель. Так мы знаем, что все исходит от Бога. Разве вы не говорите почти ежедневно: «Дай Бог, чтоб то или другое случилось» и «мы скоро станем косить траву, лишь дал бы нам Бог хорошей погоды подольше»? Мы знаем очень хорошо, что находимся совершенно в руках Божиих: мы не сами родились на свет, когда мы спим, то не можем сами заботиться о своей жизни; дневной свет, ветер, хлеб, коровы, дающие

нам молоко, – все, что мы имеем, мы имеем от Бога. Он даровал нам душу, вселил любовь между родителями и детьми, между мужем и женой. Но разве нам только это и нужно знать о Боге? Мы видим, что Он велик и всемогущ и все, что желает, может совершить; если мы попытаемся думать о нем, то совершенно потеряемся, как в борьбе с необъятною массою воды.

Но, может быть, в вашей голове возникает сомнение: может ли Бог много заботиться о нас, нищих? Может быть, он создал свет только для великих, мудрых, богатых? Ему ничего не стоит дать нам горсточку наших жизненных припасов и нашу скудную одежду; но как мы можем знать, заботится ли он о нас больше, чем мы заботимся о червях и садовых предметах, когда разводим морковь и лук? Заботится ли о нас Бог, когда мы умираем? Дает ли он утешение, если мы увечны, больны или находимся в беспомощном состоянии? Может быть, также он недоволен нами – иначе отчего же быть падежу, неурожаю, лихорадке и всякого рода страданиям и беспокойствам? Потому что вся наша жизнь исполнена беспокойства, и если Бог посылает нам благо, то он же, по-видимому, посылает и горе. Как же это? Подумайте!

Ах, друзья мои! И добрые вести о Боге действительно нужны нам; и что значат другие добрые вести, если нам недостает этих? Ибо все прочее имеет конец, и, умирая, мы оставляем все. Но Бог имеет бытие, когда все прочее уже исчезло. Что станем мы делать, если он не будет нашим защитником?

Затем Дина объяснила, каким образом были принесены добрые вести и каким образом милость Бога к нищим обнаружи валась в жизни Иисуса, проявляясь в его смирении и в его милосердии.

– Итак, вы видите, дорогие друзья, – продолжала она, – Иисус провел почти всю свою жизнь, делая добро нищим. Он проповедовал им вне домов, делал бедных работников своими друзьями, учил их и делил с ними нужду. Он делал добро и богатым, ибо он был исполнен любви ко всем людям; но он видел, что нищие более нуждались в его помощи. Таким образом, он исцелял увечных, и больных, и слепых, творил чудеса для того, чтоб на кормить голодных, ибо, говорил он, ему было жаль их, и он был весьма милостив к малым детям и утешал тех, которые лишились своих друзей, и очень милостиво разговаривал с бедными грешниками, скорбевшими о своих грехах.

Ах, неужели вы не стали бы любить такого человека, если б видели его... Если б он был здесь в деревне? Какое доброе сердце он должен иметь! Каким бы он был другом людям, находящимся в затруднении! Как было бы приятно учиться у него!

Но, дорогие друзья, кто же был этот человек? Был ли он только добрый человек... весьма добрый человек, и больше ничего... подобно нашему дорогому мистеру Веслею, который был взят от нас?.. Он был Сын Божий... «единого существа с Богом Отцом», как говорит Священное Писание; это означает, что он тот же Бог, который есть начало и конец всего... Бог, о котором нам нужно знать. Итак, любовь, которую Иисус обнаруживал к нищим, есть та же самая любовь, которую Бог имеет к нам. Мы можем разуместь, что чувствовал Иисус, потому что он сшел на землю, приняв на себя плоть, подобную нашей, и говорил такие же слова, с какими мы обращаемся друг к другу. Мы боялись при мысли о том, что Бог был прежде... Бог, создавший мир, и небо и гром, и молнию. Мы никогда не могли видеть его, мы могли видеть только созданное им, и некоторые из этих предметов были страшны так, что мы должны трепетать, думая о нем. Но наш божественный Спаситель открыл нам естество Бога таким образом, как могли понять бедные неученые люди; он открыл нам сердце божие и чувства его к нам.

Но посмотрим же поближе, для чего Иисус сшел с небес. В одном месте он сказал: «Я пришел найти и спасти то, что было потеряно», – и в другом: «Я пришел не для того, чтоб праведных привести к раскаянию, а для того, чтоб привести к раскаянию грешников».

Что было потеряно!.. Грешников!.. Ах, друзья мои, не должны ли вы и я разуместь под этим самих себя?

До этих пор всадника невольно приковывал к месту очаровательный, мягкий, высокий голос Дины, разнообразием своих тонов напоминавший превосходный инструмент, до которого касался художник, не сознававший своего удивительного музыкального таланта. Простые вещи, о которых она говорила, казались новостью: так пробуждает в нас новые чувства мелодия, которую поет чистый голос ребенка в хоре; спокойная глубина убеждения, которою была проникнута ее речь, служила, по-видимому, сама по себе ясным доказательством истины сообщений. Она видела, что вполне оковала слушателей. Поселяне еще более приблизились к ней, и на лицах всех выражалось глубокое внимание. Она говорила медленно, хотя совершенно плавно, часто останавливалась после вопроса или перед переменою мыслей. Она не изменяла своего положения, не делала жестов. Сильное впечатление, которое произвела ее речь, следовало приписать переменившимся тонам в ее голосе, и когда она дошла до вопроса: «Будет ли Бог заботиться о нас, когда мы умрем?», она произнесла таким жалобным, молящимся тоном, что самые жесткие сердца не могли удержаться от слез. Незнакомец, которым при первом взгляде на Дину овладело сомнение в том, чтоб она могла пробудить внимание своих грубых слушателей, теперь убедился в несправедливости своего сомнения, но все еще не знал, будет ли она иметь власть пробудить в них сильнейшие чувства; а это должно было служить необходимою печатью ее призвания – призвания проповедницы-методистки, – до тех пор, пока она не произнесла слов: «Потеряно!.. грешники!», когда в ее голосе и манерах произошла большая перемена. Она долгое время молчала перед восклицанием, и пауза, казалось, была следствием волновавших ее мыслей, которые выразились в ее чертах. Ее бледное лицо побледнело еще более, круги под глазами стали глубже, как обыкновенно бывает, когда скопились слезы, но еще не падают, и в кротких, выразивших любовь глазах отразились испуг и сожаление, как будто она внезапно увидела ангела-истребителя, парившего над головою собравшегося народа. Ее голос стал глубок и неясен, но она все-таки не делала никаких жестов. И Дина вовсе не походила на обыкновенных высокопарных риторов. Она не проповедовала так, как слышала, что проповедуют другие, а говорила по внушению собственных чувств, воодушевленная собственной простою верою.

Но теперь ею овладел новый поток чувств, ее манеры стали беспокойнее, ее речь быстрее и взволнованнее, когда она стала говорить слушателям о их грехах, умышленном невежестве, о их неповиновении Богу, когда она остановилась на ненавистном свойстве греха, на божественной святости и страданиях нашего Спасителя, которые открыли путь к нашему спасению. Наконец, казалось, что она, страшно желая возвратить на путь истинный потерянную овцу, не могла довольствоваться, обращаясь ко всем своим слушателям разом. Она обращалась то к одному, то к другому, со слезами умоляя их обратиться к Богу, пока еще не было поздно, описывая им крайнюю печаль их душ, потерянных в грехе, питаясь мякиною этого несчастного мира, в большом отдалении от Бога, их Отца, и затем любовь Спасителя, с нетерпением ожидавшего их возвращения.

Между методистами слышались не раз вздохи и стоны во время проповеди, но души поселян воспаляются нелегко, и все впечатление, которое произвела на них в то время проповедь Дины, выразилось незначительным неопределенным беспокойством, которое снова могло скоро исчезнуть. Никто из них, однако ж, не удалился, кроме детей и дедушки Тафта, который, будучи глух, не мог расслышать много слов и через несколько времени возвратился в свой угол за печью. Жилистый Бен чувствовал, что ему было не совсем-то ловко, и почти сожалел, что пришел послушать Дину: он опасался, что сказанное ею будет каким-нибудь образом преследовать его. Несмотря на то, он очень охотно смотрел на нее и внимал ее речи, хотя и каждую минуту опасался, что она устремит на него свои глаза и обратится к нему в особенности. Она уже обращалась к Рыжему Джиму, который, желая облегчить свою жену, держал в то время на руках грудного ребенка, и дюжий, но мягкосердый человек отер слезы кулаком, как-

то смутно намереваясь сделаться лучшим человеком, меньше ходить мимо каменных коней в «Остролистник» и быть опрятнее по воскресеньям.

Впереди Рыжаго Джима стояла Чадова Бесс, которая была необыкновенно спокойна и внимательна с той самой минуты, когда Дина начала говорить. Ее не занимала сначала самая речь. Она сначала была совершенно погружена в мысли о том, какое удовольствие в жизни может иметь молодая женщина, носящая такой чепец, как Дина. С отчаянием оставив это исследование, она стала изучать нос Дины, ее глаза, рот и волосы, спрашивая себя, что было лучше – иметь ли такое бледное лицо, как лицо Дины, или же такие, как у нее, Бесс, полные румяные щеки и круглые черные глаза. Но мало-помалу серьезное настроение всех произвело впечатление и на нее, и она стала вникать в то, что говорила Дина. Нежные тоны голоса, исполненное любви красноречие не тронули ее; но когда Дина обратилась к слушателям с суровым воззванием, то Чадовой Бесс начал овладевать страх. Бедная Бесси была известна как шалунья, и она знала это; если же следовало людям быть добрыми, то ясно было, что она находилась на дурной дороге. Она не могла найти псалмов в своем молитвеннике так легко, как Салли Ганн; замечали, что она часто хихикала, когда приседала мистеру Ирвайну, и ее недостатки в религиозном отношении сопровождалась соответствующую слабостью в отношении к меньшим нравственным правилам, ибо Бесси неоспоримо принадлежала к неумытому, ленивому классу женских характеров, которым вы смело можете предложить яйцо, яблоко или орехи, не опасаясь отказа. Все это знала она и до этих пор вовсе не стыдилась этого. Но теперь она стала чувствовать стыд, как будто явился констебль и хотел взять ее и представить в суд за какой-то неопределенный проступок. Ею овладел неясный страх, когда она узнала, что Бог, которого она всегда считала столь далеким, был, в сущности, очень близок к ней и что Иисус стоит возле нее и взирает на нее, хотя она и не может видеть его. Ибо Дина имела веру в видимые проявления Иисуса, которая распространена между методистами, и умела непреодолимо внушать эту веру своим слушателям; она заставляла их чувствовать, что он осязательно присутствует среди них и ежеминутно может явить себя им таким образом, что поразит их сердца тоской и раскаянием.

– Посмотрите! – воскликнула она, обратившись в левую сторону и устремив взор на точку, находившуюся над головами собравшихся. – Посмотрите, где стоит наш Господь, и плачет, и простирает руки к вам. Послушайте, что он говорит: «Как часто хотел бы я сзывать вас, как насадка сзывает своих цыплят под крылья; да вы не хотели!..» Да вы не хотели! – повторила она тоном жалобы и укора, снова обратив взор на народ. – Посмотрите на следы гвоздей на его божественных руках и ногах. Ваши грехи были причиной их. Ах, как он бледен и изнурен! Он выстрадал великую тоску в саду, когда его душа изнывала до смерти и большие кровавые капли пота струились на землю. Они плевали на него и били кулаками, они бичевали его, они издевались над ним, они положили тяжелый крест на его израненные плечи. Потом они распяли его. Ах, как велики были его страдания! Его уста были сухи от жажды, и они издевались над ним даже при его предсмертных муках, тогда как он этими высохшими устами молился за них: «Отче, отпусти им, ибо не ведают, что творят». Затем обуял его ужас великого мрака, и он чувствовал то, что чувствуют грешники, которые навеки лишены милостей Божьих. Это была последняя капля в чаше горечи. «Боже мой, Боже мой! – восклицает он. – За что оставил ты меня?»

И все это он понес за вас! за вас... а вы никогда не помышляете о нем; за вас... а вы отворачиваетесь от него; вы и не думаете о том, что он выстрадал за вас. И несмотря на то, он не перестает мучиться за вас: он восстал от мертвых, он молится за вас, находясь одесную отца: «Отче, отпусти им, ибо не ведают, что творят». И он также присутствует здесь на земле, он находится между нами, он и теперь находится близ вас. Я вижу раны на его теле и выражение неоскудевающей любви в его взоре.

После этих слов Дина обратилась к молоденькой Бесси Кренедж, привлекательная молодость и явное тщеславие которой возбуждали сожаление Дины.

– Бедное дитя, бедное дитя! Он так настоятельно призывает тебя к себе, а ты не внимаешь ему. Ты думаешь о серьгах, о богатых и красивых платьях и чепцах, а ты никогда не думаешь о Спасителе, который умер для того, чтоб спасти твою драгоценную душу. Придет время, когда щеки твои покроются морщинами, волосы поседеют, бедное тело твоё станет сухим и дряхлым! Тогда ты будешь чувствовать, что твоя душа не спасена, тогда придется тебе стать перед Богом одетою в твои грехи, в дурной характер и суетные помыслы, и Иисус, готовый оказать тебе помощь в настоящее время, тогда не окажет ее: так как ты не хочешь, чтоб он был твоим спасителем, то он будет твоим судьей. Теперь он обращает на тебя взор, полный любви и благодати, и говорит: «Приди ко мне, да найдешь жизнь»; тогда же он отвернется от тебя и скажет: «Иди же от меня в огонь вечный!»

Черные, открытые во всю свою величину глаза бедной Бесси стали наполняться слезами, ее полные румяные щеки и губы побледнели, и ее лицо исказилось, как искажается лицо ребенка, готовящегося заплакать.

– Ах, бедное слепое дитя! – продолжала Дина. – А если с тобой случится то же, что случилось с рабою Божьею во дни ее тщеславия. Она думала только о кружевных чепцах и копила деньги, чтоб купить их; она никогда не думала о том, как бы ей сделаться чистою сердцем и праведною; ей нужно было только иметь кружева лучше других девушек. И однажды когда она надела новый чепец и посмотрелась в зеркало, то увидела окровавленный лик в терновом венце. Этот лик обращен теперь к тебе. – При этих словах, Дина указала на точку перед Бесси. – Ах, вырви вон эти глупости! Брось их от себя как жалящих змей. Да они и жалят тебя... они отравляют твою душу... они влекут тебя в мрачную бездонную пропасть, где ты погрязнешь навеки, навеки и навеки, вдали от света и от Бога.

Бесси не могла долее переносить этого: ею овладел неописанный ужас; вырвав серьги из ушей и громко рыдая, она бросила их перед собою на землю. Ее отец Чад, опасаясь, что и до него может дойти очередь (впечатление, произведенное на упрямую Бесс, поразило его, как чудо), поспешно удалился и принялся работать за своей наковальней для того, чтоб снова собраться с духом.

– Проповедуй там или не проповедуй! Людям все равно нужны же подковы, ведь не возьмет же меня дьявол за это, – ворчал он про себя.

Но вслед за тем Дина стала говорить о радостях, которые будут уделом покаявшихся, и своим простым языком описывать божественный мир и любовь, наполняющие душу верующего, каким образом чувство божественной любви превращает бедность в богатство и служит отрадою для души, так что ее не раздражает никакое нечестивое желание, не тревожит никакой страх, каким образом, наконец, исчезает самое искушение к содеянному греху, и на земле начинается жизнь небесная, ибо не проходит никакого облачка между душою и Богом, который есть ее вечное солнце.

– Дорогие друзья, – сказала она в заключение, – братья и сестры, которых я люблю, как тех, за которых умер наш Господь, верьте: я знаю, что значит это великое блаженство, и, потому что я это знаю, я желаю, чтоб и вы разделяли его. Я бедна так же, как и вы, и принуждена снискивать себе пропитание трудами рук своих, но никакой лорд, никакая леди не могут быть так счастливы, как я, если у них в душе нет любви к Богу. Подумайте, что значит ненавидеть только грех, любить каждое существо, не страшиться ничего, быть уверенным, что все ведет к добру, не заботиться о страданиях, ибо такова воля нашего Отца, знать, что ничто – нет, ничто, если б даже была сожжена земля или воды вышли из берегов и затопили нас, – ничто не может разлучить нас с Богом, любящим нас и наполняющим души наши миром и радостями, ибо мы уверены, что все, что он ни велит, свято, справедливо и добро. Дорогие друзья, придите и получите это блаженство, оно предлагается вам, это – добрые вести, которые Иисус пришел возвестить бедным. Оно не походит на богатства этого мира: последние таковы, что, чем больше приобретает один, тем меньше остается прочим. Бог бесконечен; любовь его бесконечна.

Its streams the whole creation reach,
So plenteous is the store;
Enough for all, enough for each,
Enough for evermore.⁸

Дина говорила по крайней мере час, и румяный свет заходившего солнца, казалось, придавал ее заключительным словам торжественную силу. Незнакомец, заинтересованный речью, как могло его заинтересовать развитие драмы – во всяком красноречивом слове, сказанном без приготовления, существует очарование, открывающее слушателю внутреннюю драму волнений оратора, – повернул лошадь в сторону и стал продолжать свой путь в то время, когда Дина произнесла: «Споем гимн, дорогие друзья!» Спускаясь по извилинам откоса, он слышал голоса методистов, то возвышавшиеся, то опускавшиеся в странном слиянии радости и грусти, которое принадлежит к размеру гимна.

⁸ Ее поток наполняет вселенную: так обилён источник этой любви; ее достаточно на всех, ее достаточно на всякого, ее достаточно навеки.

После проповеди

Менее часу спустя Сет Бид шел рядом с Диной по окруженной изгородью из деревьев аллее, которая шла по опушке пастбищ и зеленых хлебных лугов, лежавших между деревней и мызою. Дина снова сняла свою квакерскую шляпку и держала ее в руках для того, чтоб свободнее наслаждаться прохладой вечерних сумерек, и Сет очень ясно мог видеть выражение ее лица, когда он шел с нею рядом, робко обдумывая то, что он хотел сказать ей. Ее лицо выражало бессознательную тихую важность, погружение в мысли, не имевшие никакой связи с настоящей минутой или с ее собственной личностью, – одним словом, ее лицо имело выражение, которое не может ободрить влюбленного. Самая походка Дины лишала Сета мужества: она была так спокойна и легка, что не нуждалась в помощи. Сет неопределенно сознавал это и подумал: «Она так добра и так свята, что никто не достоин ее, а я и подавно». Таким образом, слова, которые он вызвал в себя, возвращались назад, не коснувшись его губ. Но другая мысль придала ему мужество: «Разве найдется человек, который мог бы любить ее больше и дать ей полнейшую свободу предаваться делам, угодным Богу?» – думал он. Они несколько минут молчали, с тех пор, как перестали говорить о Бесси Кренедж. Дина, по-видимому, почти забыла о присутствии Сета; походка ее сделалась гораздо скорее. Заметив, что им оставалось только несколько минут ходьбы до ворот мызного двора, Сет наконец ободрился и сказал:

– Что, вы совершенно решились воротиться в Снофильд в субботу, Дина?

– Да, – отвечала Дина спокойно. – Меня призывают туда. Когда я была погружена в размышление в воскресенье вечером, то мне представилось, что сестра Аллен, которая больна чахоткой, нуждается во мне. Я видела ее так же ясно, как мы видим теперь это небольшое белое облачко: она, бедняжка, подняла свою исхудавшую руку и манила меня к себе. И сегодня утром, когда я открыла Библию для того, чтоб почерпнуть из нее наставление, то первые слова, попавшиеся мне на глаза, были: «И, узрев видение, немедленно решили идти в Македонию»; если б не это ясное указание воли Господней, я пошла бы туда неохотно, потому что сердце мое сокрушается по тетке и ее малюткам и по этой бедной, заблудшей овце Хетти Соррель. В последнее время я много молилась о ней, и в моем видении я вижу знамение того, что она будет помилована.

– Дай-то Бог! – сказал Сет. – Мне кажется, Адам до того привязался к ней сердцем, что никогда не обратится к какой-нибудь другой; а между тем женитьба его на ней нанесла бы сильный удар моему сердцу, потому что я не могу себе представить, чтоб она сделала его счастливым. Это глубокая тайна, каким образом сердце мужчины обращается к одной женщине, несмотря на всех прочих, которых он видел на свете, и ему легче работать для нее семь лет, как Иаков работал для Рахили, нежели обратиться к другой женщине, которая только и ждет его предложения. Я часто вспоминаю эти слова: «И Иаков семь лет служил для Рахили, и казались они ему только немногими днями: столь велика была любовь, которую он питал к ней». Я знаю, что эти слова оправдались бы на мне, Дина, если б вы мне дали надежду, что я получил бы вас по прошествии семи лет. Вы, я знаю, думаете, что муж отнял бы у вас слишком много мыслей, потому что апостол Павел говорит: «Она же, идущая замуж, печется о предметах мира сего, как бы ей понравится мужу»; вы, может быть, считаете меня слишком смелым за то, что я снова заговорил с вами об этом, тогда как вы сообщили мне прошлую субботу, что вы думаете об этом предмете. Но я опять думал об этом ночью и днем и молился, чтоб меня не ослепили мои желания и чтобы я не думал только, что хорошо для меня, то хорошо и для вас. И мне кажется, что больше текстов можно привести за ваше замужество, нежели вы когда-либо приведете против него. Апостол Павел чрезвычайно ясно говорит в другом месте: «Хочу, чтоб молодые женщины шли в замужество, рожали детей, вели хозяйство, не давали никакого случая врагу упрекать их в чем-либо», и еще: «Двое лучше одного», и это так же хорошо отно-

сится к женитьбе, как к многому другому. Потому что мы будем жить одним сердцем и одним умом, Дина! Мы оба служим одному Господину и стремимся к одним и тем же благам; и я никогда не буду мужем, который стал бы объявлять свои права на вас и препятствовать вам в совершении дел, возложенных на вас Богом. Я употребил бы всевозможные усилия, снял бы внутренние и внешние двери для того, чтоб вы имели полнейшую свободу, и вы были бы свободны больше теперешнего, ибо теперь вам самим нужно заботиться о своем существовании, я же довольно силен для того, чтоб работать на нас обоих.

Начав однажды свою речь, Сет продолжал говорить серьезно и даже торопился, как бы опасаясь, чтоб Дина не произнесла решительного слова прежде, нежели он успел излить все доводы, приготовленные им. Его щеки раскраснелись, когда он стал продолжать; его кроткие серые глаза наполнялись слезами, и голос дрожал, когда он произносил последние слова. Они достигли одного из весьма узких проходов между двумя высокими камнями, стоявшими здесь, в Ломшейре, вместо дорожных столбиков, и Дина, помолчав, обернулась к Сету и произнесла своим нежным, но спокойным дискантом:

– Сет Бид, благодарю вас за любовь ко мне, и если б я могла думать о ком-либо больше, нежели как о брате моем во Христе, то, вероятно, думала бы о вас. Но сердце мое несвободно для того, чтоб я могла выйти замуж. Это хорошо для других женщин, и быть женою и матерью – дело великое и благословенное; но «что Бог назначил человеку, к чему Господь призвал человека, так да совершится то». Бог назначил мне прислуживать другим, не иметь ни собственных радостей, ни печалей, но радоваться с теми, кто радуется, и плакать с теми, кто плачет. Он призвал меня возвестить его слово, и он высоко признал мои деяния. По самому ясному лишь указанию свыше могла бы я оставить братьев и сестер в Снофильде, которые удостоены лишь весьма немногих благ этого мира, где деревья находятся в небольшом числе, так что ребенок может сосчитать их, и где бедным весьма тяжело жить зимою. Мне предназначено помогать тому небольшому стаду, быть его отрадою и опорой, усилить его и сзывать туда заблуждающихся; и душа моя полна всего этого с раннего утра и до позднего вечера. Моя жизнь слишком коротка, дело же Божие слишком велико для меня, чтоб я могла устроить себе в этом мире свой собственный приют. Я не была глуха к вашим словам, Сет, ибо, когда я увидела, как вы отдали мне вашу любовь, я думала, что само Провидение указывает мне переменить мой образ жизни и нам обоим сделаться помощниками друг друга; и я обратилась с вопросом об этом к Богу. Но каждый раз когда я старалась мысленно остановиться на замужестве и на нашей жизни вдвоем, то голова моя всегда наполнялась другими мыслями... о тех временах, когда я молилась у изголовья больных и умирающих, и о счастливых часах, в которые я поучала, когда сердце мое было полно любви и слово давалось обильно. И когда я открывала Библию для того, чтоб почерпнуть оттуда наставление, то я всегда попадала на слова, указывавшие мне ясно, где было мое дело. Я верю, Сет, вашим словам: что вы употребили бы все старания, чтоб быть помощью, а не препятствием в моих действиях, – но я вижу, что на брак наш нет воли Божией... Он влечет мое сердце по другому пути. Я хочу жить и умереть без мужа и детей. Мне кажется, что у меня в душе нет места для моих собственных нужд и опасений: в такой степени Богу было угодно наполнить сердце мое только нуждами и страданиями бедных избранных им людей.

Сет был не в состоянии отвечать, и они продолжали идти молча. Наконец, когда они уже стали подходить к воротам двора, он сказал:

– Итак, Дина, я должен найти в себе твердость, чтоб перенести это и покориться воле того, кто невидим. Но я чувствую теперь, как слаба моя вера. Кажется, как будто я уже не могу найти ни в чем радости, когда вас нет. Я думаю, что мое чувство к вам превышает обыкновенную любовь к женщинам, ибо я мог бы быть довольным, если б вы и не вышли за меня замуж, если б я мог отправиться в Снофильд, жить там и быть вблизи вас. Я надеялся, что сильная любовь к вам, которую Бог дал мне, служила указанием нам обоим, но, видно, это дано было мне в

испытание. Может быть, я чувствую к вам больше, нежели я должен чувствовать к какому-либо созданию, ибо я невольно говорю о вас, как говорит гимн:

In darkest shades if *she* appear,
My dawning is begun;
She is my soul's bright morning-star,
And *she* my rising sun⁹.

Я, может быть, и не прав, рассуждая таким образом, и должен научиться лучшему. Но скажите, будете ли вы недовольны мною, если судьба устроит так, что мне удастся оставить эту страну и пойти жить в Снофильд?

– Нет, Сет, но я советую вам ждать терпеливо и не оставлять без нужды вашей страны и родных. Не делайте ничего без ясного повеления Господа. Та страна холодна и бесплодна и непохожа на эту Гессемскую землю, в которой вы привыкли жить. Мы не должны торопиться в назначении и выборе нашей собственной участи – мы должны ждать указания.

– Но вы позволите мне написать вам письмо, Дина, если мне нужно будет сообщить вам что-нибудь.

– Конечно, уведоьте меня, если будете находиться в каком-нибудь затруднении. Я постоянно буду поминать вас в молитвах.

Они дошли теперь до ворот двора, и Сет сказал:

– Я не войду туда, Дина. Будьте же счастливы.

Она подала ему руку. Он остановился и медлил и потом сказал:

– Кто знает, может быть, через несколько времени вы станете иначе смотреть на предметы. Может быть, последует и новое указание.

– Оставим это, Сет! Хорошо жить только настоящею минутою, как читала я в одной из книг мистера Веслея. Ни вам, ни мне не следует делать планы: нам ничего более не остается делать, как повиноваться и надеяться. Будьте счастливы.

Дина сжала его руку с некоторой грустью в своих любящих глазах и потом вошла в ворота, между тем как Сет повернулся и медленно отправился домой. Но, вместо того чтоб идти прямой дорогой, он предпочел повернуть назад по полям, по которым недавно шел с Диной, и, кажется, его синий полотняный платок был очень влажен от слез гораздо прежде, нежели он успел опомниться, что уже было время прямо отправиться домой. Ему было только двадцать три года, и он только что узнал, что значит любить... любить до обожания, как молодой человек любит женщину, которая, по его собственному сознанию, выше и лучше его. Любовь такого рода почти одинакова с религиозным чувством. Как глубока и достойна такая любовь – все равно: к женщине, или к ребенку, к искусству, или к музыке. Наши ласки, наши нежные слова, наш тихий восторг под влиянием осеннего заката солнца, или колоннад, или спокойных величественных статуй, или бетховенских симфоний приносят с собою сознание того, что это волны и струи в неизмеримом океане любви и красоты. Наше волнение, достигая высшей степени, переходит от выражения к безмолвию; наша любовь при самой высшей струе ее стремится далее своего предмета и теряется в чувстве божественной тайны. И этот благословенный дар благоговеющей любви, с того времени как существует свет, был присужден слишком многим смиренным работникам, и потому мы не должны удивляться, что эта любовь существовала в душе методиста-плотника полстолетия тому назад: тогда продолжал еще существовать отблеск времени, в которое Весли и его сотоварищи-земледельцы питались шиповником

⁹ Если она, является в мрачайшей тени, тогда начинается моя утренняя заря; она – блестящая утренняя звезда моей души, она и мое восходящее солнце. (Гимн ко Христу доктора Уогса, методиста.)

и боярышником корнвельских изгородей и, не щадя физических и нравственных сил своих, сообщали божественные вести бедным.

Этот отблеск исчез уже давно, и картина методизма, которую готово представить нам воображение, не является в виде амфитеатра зеленых гор или глубокой тени широколиственных сикомор, где толпа грубых мужчин и утомленных сердцем женщин впивали веру, которая первоначально образовала их, связала их мысли с прошедшим, возвысила их фантазию над грязными подробностями их собственной узкой жизни и облила их души сознанием сострадательного, любящего, беспредельного присутствия, сладостного, как лето для бездомного нищего. Может быть также, некоторые из моих читателей при мысли о методизме представляют себе не что иное, как низенькие дома в темных улицах, жирных лавочников, дармоедов-проповедников, лицемерный тарабарский язык – элементы, по мнению не одного фешенебельного квартала, составляющие полную идею о методизме.

Это заслуживало бы сожаления, ибо я не могу представить, что Сет и Дина не были методистами – они были методистами, но, разумеется, не современной формы, которые читают трехмесячные обозрения и сидят в капеллах, имеющих портики с колоннами, а были методистами самого старого покроя. Они веровали, что чудеса могут совершаться и в настоящее время, веровали в мгновенное обращение, в откровения посредством снов и видений. Они бросали жребий и искали божественного указания, открывая наудачу Библию, они буквально толковали Священное Писание, что вовсе не утверждено признанными комментаторами. Мне невозможно также сказать, что они правильно выражались или что их учение отличалось веротерпимостью. Но – если я верно читал священную историю – вера, надежда и любовь к ближнему не всегда находились в безукоризненной гармонии. Благодаря небу можно иметь весьма ошибочные теории и весьма высокие чувства. Сырая ветчина, которую неуклюжая Молли откладывает от своей собственной скудной доли для того, чтоб снести ее соседнему ребенку, надеясь унять его этим лакомством, может быть жалким недействительным средством, но великодушное движение чувств, побуждающее соседку к этому делу, имеет благодетельный отблеск, который не потерял.

Принимая во внимание все сказанное нами выше, мы не можем отказать Дине и Сету в нашем сочувствии, несмотря на то что привыкли плакать над более возвышенную печалью героинь в атласных сапожках и кринолине и героев, едущих на пылких конях и обуреваемых еще более пылкими страстями.

Бедный Сет! Во всю свою жизнь он сидел на лошади только один раз, когда был мальчиком и мистер Джонатан Бердж посадил его на лошадь позади себя, сказав ему: держись крепче! И, вместо того чтоб изливаться в неистовых упреках против Бога и судьбы, он, идя теперь домой, при торжественном сиянии звезд, решается подавить горе, менее подчиняться своей собственной воле и, подобно Дине, более жить для ближних.

IV. Дом и домашние печали

По зеленеющей долине протекает ручеек, почти готовый разлиться после недавних дождей и окруженный наклонившимися к его воде ивами. Через ручеек переброшена доска. По этой доске идет Адам Бид твердым шагом, преследуемый по пятам Джипом с корзинкой. Ясно, что он идет к крытому соломою дому, с одной стороны которого стоит клетка леса, поднимающаяся вверх по противоположному откосу ярдов на двадцать.

Дверь дома отворена. Из нее смотрит пожилая женщина, но она не занята тихим созерцанием вечернего солнечного света – она ожидает, устремив слабые зрением глаза на постепенно увеличивавшееся пятно, которое как она вполне уверилась в последние минуты, был ее любимый сын Адам. Лисбет Бид любит своего сына любовью женщины, которая получила своего первенца поздно в жизни. Она – заботливая, худощавая, но еще довольно крепкая старуха и чистая, как подснежник. Седые волосы опрятно зачесаны назад под белый, как снег, полотняный чепец, обшитый черною лентою, широкая грудь покрыта желтою косынкой, и под ней вы видите нечто вроде короткого спального платья, сшитого из синей клетчатой холстинки, подвязанного около талии и доходящего пониже колен, где видна довольно длинная понитковая юбка. Лисбет высока, да и в других отношениях между ею и ее сыном Адамом большое сходство, ее темные глаза теперь уже несколько утратили свой блеск, вероятно от излишних слез, но ее широко очерченные брови все еще черны, зубы здоровы, и когда она стоит, держа в своих загрубелых от трудов руках вязанье, и быстро и бессознательно занимается этою работою, то держится так же прямо и твердо, как и в то время, когда несет на голове ведро с водою от ключа. В матери и сыне та же фигура и тот же смелый живой темперамент, но не от матери у Адама выдающийся вперед лоб и выражение великодушия и ума.

Фамильное сходство служит нередко источником глубокой грусти: природа, этот великий трагический драматург, связывает нас вместе посредством костей и мускулов и разделяет нас более тонкою тканью нашего мозга, смешивает любовь и отвращение и связывает нас фибрами сердца с существами, постоянно находящимися в разладе с нами. Мы слышим, как голос, имеющий тот же тембр, как и наш собственный, выражает мысли, которые мы презираем; мы видим, что глаза – ах, точь-в-точь глаза нашей матери – отвращаются от нас с холодным равнодушием, и наш последний любимый ребенок приводит нас в трепет, своим видом и жестами напоминая сестру, с которой мы враждебно расстались много лет тому назад. Отец, которому мы обязаны нашим лучшим наследством – механическим инстинктом, тонкою чувствительностью к звукам, бессознательными способностями к художеству, – раздражает и заставляет нас краснеть своими беспрестанными промахами; давно утраченная нами мать, лицо которой мы начинаем видеть в зеркале, когда являются наши собственные морщины, тревожила некогда наши молодые души своими заботливыми причудами и неразумною настойчивостью.

Вы слышите голос такой заботливой, любящей матери, когда Лисбет говорит:

– Наконец-то, Адам! Семь часов уже пробило давно. Ты всегда готов оставаться до тех пор, пока не родится последний ребенок. Ты, я уверена, хочешь ужинать. Где же Сет? Я думаю, шляется где-нибудь по капеллам?

– Полно, матушка! Сет не балует, будь спокойна. Но где же отец? – торопливо произнес Адам, входя в дом и взглянув в комнату на левой стороне, где была мастерская. – Что, готов ли гроб Толера? Вон там стоит и материал так, как я оставил его сегодня утром.

– Готов ли гроб? – сказала Лисбет, следуя за ним и продолжая вязать без прерывания, хотя смотрела на своего сына очень заботливо. – Э, родной, он сегодня утром отправился в Треддльстон и еще не возвращался. Я думаю, что он опять нашел дорогу в «Опрокинутую телегу».

Весьма заметная краска гнева быстро пробежала по лицу Адама. Он не произнес ни слова, сбросил свою куртку и начал снова засучивать рукава своей рубашки.

– Что хочешь ты делать, Адам? – сказала мать с беспокойством в голосе и во взгляде. – Неужели ты опять хочешь приняться за работу, не съевши своего ужина?

Адам, рассерженный так, что не мог говорить, пошел в мастерскую. Но его мать оставила свое вязанье и, торопливо догнав его, схватила за руку и тоном жалобного укора сказала:

– Нет, сын мой, ты не должен идти без ужина. Там твое любимое кушанье – картофель в соусе. Я оставила его именно для тебя. Пойди и поужинай... Пойдем.

– Полно! – резко сказал Адам, освобождаясь от матери и схватив одну из досок, прислоненных к стене. – Тебе хорошо говорить об ужине, когда обещали доставить гроб в Брекстон завтра утром, к семи часам. Он должен был бы находиться там уже теперь, а между тем не вбито еще ни одного гвоздя. Уж мне это по горло – я не могу и глотать пищи.

– Ну, ведь ты не можешь же приготовить гроба, – сказала Лисбет. – Ты вгонишь себя самого в могилу работою. Ведь тебе придется проработать всю ночь, чтоб приготовить его.

– Что за дело, сколько времени и проработаю над ним! Разве гроб не обещан? Разве могут похоронить человека без гроба? Я охотнее лишусь руки от работы, нежели стану обманывать людей ложью таким образом. Я сойду с ума, если только подумаю об этом. Я очень скоро переменю все это. Я терпел довольно долго.

Бедная Лисбет уже не впервые слышала эту угрозу и поступила бы благоразумнее, если б притворилась, что не расслышала ее, вышла бы спокойно вон и помолчала несколько времени. Женщина должна хорошенько запомнить этот совет: никогда не говорить с человеком рассерженным или пьяным. Но Лисбет села на чурбан для обрубки досок и принялась плакать; проплакав до тех пор, пока голос ее стал очень жалостлив, она разразилась словами:

– Нет, мой сын, ты не захочешь уйти и сломить сердце твоей матери и бросить отца, чтоб он разорился. Неужели ты захочешь, чтоб они снесли меня на кладбище, и не пойдешь за моим гробом? Я не буду покойна в моей могиле, если не увижу тебя, когда стану закрывать глаза. Как же им дать знать тебе, что я при смерти, если ты пойдешь по работам в отдаленные места?... Сет, вероятно, уйдет также после тебя... твой отец не в состоянии держать перо в своих дрожащих руках, да притом же он и не будет знать, где ты находишься. Ты должен простить твоему отцу... ты не должен быть так суров к нему. Он был для тебя хороший отец до того, как он предался пьянству. Он был сметливый работник, научил тебя мастерству, вспомни это, и никогда в жизни не ударил меня и даже не сказал дурного слова... нет, даже когда он бывает пьян. Ты не захочешь, чтобы он пошел в рабочий дом... твой родной отец... а ведь он был статный человек и почти на все руки мастер лет двадцать пять тому назад, когда ты ребенком лежал у моей груди.

Голос Лисбет стал громче и был задушен рыданиями. Такого рода вопли принадлежат к самым раздражающим из всех звуков для того, кому приходится переносить истинное горе и кому надобно действительно работать. Адам с нетерпением прервал рыдания матери:

– Ну, матушка, не плачь и не говори так. Мало мне, что ли, хлопот и без этого? К чему говорить мне о вещах, о которых я и без того думаю слишком много каждый день? Если б я не думал о них, каким образом делал бы я так, как делаю теперь только для того, чтоб все это осталось в порядке? Но я терпеть не могу, если говорят по-пустому: я люблю беречь силы для работы, а не тратить их на пустую болтовню.

– Я знаю, ты делаешь то, чего никто другой не захотел бы делать, сын мой! Но ты всегда бываешь так жесток к твоему отцу, Адам! Теперь сколько ты делаешь для Сета, и все это тебе еще кажется мало, и на меня-то ты тотчас крикнешь, если я скажу, что недовольна мальчиком. Но ты так сердишься на твоего отца, как ты не сердишься ни на кого другого.

– Хуже, я думаю, будет, если я стану говорить мягко и спокойно смотреть на то, что дела идут дурно, не правда ли? Если б я не был строг к нему, он продал бы весь материал,

что вон там на дворе, и истратил бы его на пьянство. Я знаю, что на мне лежат обязанности в отношении к отцу, но я не обязан поощрять его к тому, чтоб он очертя голову несся к своей гибели. А зачем же примешивать к этому Сета? Мальчик не делает ничего дурного, сколько я знаю... Но теперь оставь меня в покое, матушка, и не мешай мне работать.

Лисбет не смела более говорить, но она встала и позвала Джипа. Чтоб несколько утешить себя чем-нибудь в том, что Адам отказался от ужина, который она приготовила, надеясь не спускать с любимого сына глаз все время, пока он будет есть, она с необыкновенною щедростью принялась кормить Адамову собаку. Но Джип, приведенный в смущение необыкновенными обстоятельствами, наблюдал за своим господином, нахмутив брови и подняв уши. Когда Лисбет кликнула его, то он посмотрел на нее и с беспокойством шевельнул передними лапами, зная очень хорошо, что она зовет его ужинать, но находился в нерешимости и продолжал сидеть на задних лапах, снова устремив заботливый взор на своего господина. Адам заметил нравственную борьбу Джипа, и хотя гнев сделал его менее нежным к матери, нежели обыкновенно, это, однако ж, не помешало ему позаботиться о собаке, как он заботился о ней всегда. Мы скорее будем ласково обращаться с животными, которые любят нас, нежели с женщинами, которые любят нас. Не потому ли это, что животные безгласны?

– Ступай, мой Джип, ступай! – сказал Адам тоном поощрительного приказания, и Джип, очевидно довольный тем, что мог соединить в одно долг и удовольствие, последовал за Лисбет в общую комнату.

Но едва успел он вылакать свой ужин, как тотчас же возвратился к своему господину; Лисбет осталась сидеть одна, плача над своим вязаньем. Женщины, которые никогда не браются и которые незлопамятны, часто имеют привычку постоянно жаловаться, и если Соломон был так мудр, как гласит о нем предание, то я уверен, что если он сравнивал сварливую женщину с постоянным капаньем дождя в самый дождливый день, то не имел в виду злой женщины, фурии с длинными ногтями, язвительной и самолюбивой. Уверяю вас, он подразумевал добрую женщину, видевшую радости только в счастье любимых ею особ, беспокойству которых она содействовала тем, что всегда откладывала им лакомые куски и ничего не тратила на самое себя. Он подразумевал такую женщину, как, например, Лисбет, терпеливую и в то же самое время вечно жалующуюся, отказывающую себе во всем и требовательную, день-деньской перебирающую, что случилось вчера и что может случиться завтра, и готовую плакать и над хорошим, и над дурным. К идолопоклоннической любви, которую она питала к Адаму, примешивался некоторый страх, и когда он говорил: «Оставь меня в покое», то она всегда становилась безмолвною.

Так прошло несколько времени при громком стуке старых суточных часов и при звуке Адамовых инструментов. Наконец он потребовал свечу и глоток воды (пиво пилось только по праздникам), и Лисбет, внося то, что он требовал, осмелилась произнести:

– Твой ужин стоит на столе. Может быть, ты вздумаешь съесть что-нибудь?

– Тебе, матушка, незачем сидеть долее, – сказал Адам ласковым голосом. Гнев его утих за работою, и когда он желал быть особенно ласковым со своей матерью, то говорил своим природным акцентом и на своем природном диалекте, которыми в другое время его речь отличалась менее. – Я посмотрю за отцом, когда он возвратится домой. Может, он сегодня ночью и вовсе не придет домой. Я буду покойнее, если ты ляжешь.

– Нет, и посижу, пока придет Сет. Он, думаю, вернется теперь скоро.

В это время часы, которые обыкновенно шли несколько вперед, пробили девять, но они не пробили еще десяти, как кто-то поднял защелку, и вошел Сет. Подходя домой, он слышал шум инструментов.

– Что это значит, матушка? – сказал он. – Отец работает так поздно?

– Это работает не отец... ты мог бы знать это очень хорошо, если б голова твоя не была набита церковным вздором... Если кто-нибудь работает тут, так это твой брат. Кто, кроме него, станет тут работать?

Лисбет хотела продолжать, ибо она вовсе не боялась Сета и обыкновенно изливала пред ним все жалобы, которые были подавлены в ней боязнью к Адаму. Сет во всю свою жизнь не сказал матери жесткого слова, а робкие люди всегда изливают свою брюзгливость на людей кротких. Но Сет с озабоченным видом пришел в мастерскую и сказал:

– Адди, что это значит? Как! Отец забыл сделать гроб?

– Да, брат, ведь это старая песня. Но я сделаю его, – сказал Адам, приподнявшись и бросив на брата пронизательный ясный взгляд. – А что случилось с тобой? Отчего ты так встревожен?

Глаза Сета были красны; на его кротком лице выражалось глубокое уныние.

– Да, Адди! Но что определено свыше, тому помочь нельзя... А ты, таким образом, не был и в училище?

– В училище? Нет. Этот винт может и подождать, – сказал Адам, снова принимаясь за молоток.

– Пусти-ка теперь меня – теперь моя очередь, – а ты ступай спать, – сказал Сет.

– Нет, брат, лучше я буду продолжать, благо я теперь уж запряг себя. Ты можешь помочь мне снести в Брокстон, когда он будет готов. Я разбужу тебя на рассвете. Ступай и ужинай, да запри дверь, чтоб я не слышал болтовни матери.

Сет знал, что Адам всегда говорил то, что думал, и что его ничем нельзя была заставить переменить свое мнение. Таким образом, с тяжелым сердцем пошел он в общую комнату.

– Адам еще не дотрагивался до ужина с тех пор, как пришел домой, – сказала Лисбет. – А ты, я думаю, поужинал у каких-нибудь методистов.

– Нет, матушка, – сказал Сет. – Я еще не ужинал.

– Ну, так ступай, – сказала Лисбет. – Но не ешь картофеля, потому что Адам, может быть, поест, если ужин останется тут на столе. Ведь он любит картофель в соусе. Но он был так опечален и рассержен, что не хотел есть, а я-то и положила его ведь только для него. Он уж снова грозитя уйти, – продолжала она, хныкая. – И я почти уверена, что он уйдет куда-нибудь на рассвете, прежде чем я встану, и вовсе не предупредивши меня о том, и никогда не возвратится опять, если уж он однажды уйдет, уж лучше не было бы никогда у меня сына... Ведь он не похож ни на какого другого сына своею ловкостью и проворством... И господа-то обращают на него такое внимание, ведь он такой высокий и стройный, словно тополь... И мне-то расстаться с ним и никогда более не увидеть его!

– Полно, матушка! К чему горевать понапрасну, – сказал Сет, утешая ее. – Ты не имеешь почти никаких оснований думать, что Адам уйдет из дому; напротив того, ты имеешь больше оснований думать, что он останется с тобою. Он, может быть, и скажет такую вещь в сердцах, и его надо извинить, если он иногда бывает сердит, но его сердце никогда не позволит ему уйти из дому. Вспомни, как он поддерживал нас всех, когда мы были в затруднительном положении: он отдал сбереженные им деньги для того, чтоб выкупить меня из солдат, и покупал своими заработками лес для отца, между тем как он мог бы извлечь много пользы из своих денег для самого себя, между тем как многие из молодых людей, подобных ему, давно бы уж женились и завелись своим домом. Он никогда не переменится и не бросит своего собственного дела и никогда не покинет родных, поддержание которых было целью его жизни.

– Не говори мне о женитбе, – сказала Лисбет, снова заплакав. – Вся его душа лежит к этой Хетти Соррель, которая не сбережет ни одного пенни и которая всегда будет задирать голову перед его старой матерью. И если подумаешь, что он мог бы иметь Мери Бердж, быть принятым в компаньоны и сделаться великим человеком и иметь, как мистер Бердж, подчиненных себе работников... Долли столько раз уж говорила мне об этом... Если б он не при-

вязался всем сердцем к этой девчонке, от которой столько же пользы, сколько и от левкоя на стене. Ведь он такой мастер писать и считать, а занимается таким вздором!

– Но, матушка, ты знаешь, что мы не можем любить именно тех, кого хотят другие люди, никто, кроме Бога, не может управлять сердцем человека. Я сам очень желал бы, чтоб Адам сделал другой выбор, но я не стал бы упрекать его за то, чему он помочь не может. А кто знает, может, он и старается преодолеть это. Но он не любит, чтоб с ним говорили об этом предмете, и я могу только молить Господа, чтоб он благословил его и руководил им.

– Ну, да, конечно, ты всегда готов молиться, но я не вижу, чтоб молитвы принесли тебе много пользы. Ты не заработаешь вдвое к нынешнему Рождеству. Методисты не сделают из тебя и полчеловека такого, как брат, даром что те считают тебя способным сделаться проповедником.

– То, что ты говоришь, отчасти и правда, матушка, – сказал Сет кротко. – Адам гораздо выше меня; он сделал для меня столько, сколько я никогда не буду в состоянии сделать для него. Бог распределяет таланты между людьми, как он находит добрым. Но ты не должна унижать молитвы. Молитва, может быть, не приносит денег, но она приносит нам то, чего мы не можем купить ни на какие деньги, – власть удерживаться от греха и покоряться воле Божьей, что бы ни было угодно ему ниспослать на нас. Если б ты захотела просить Бога о помощи и веровать в его милосердие, ты не стала бы так беспокоиться о суетных вещах.

– Беспокоиться? Я думаю, что я имею право беспокоиться. Тебе хорошо говорить, что мне нечего беспокоиться. Ты, пожалуй, отдашь все, что зарабатываешь, и не станешь беспокоиться о том, чтоб отложить что-нибудь на черный день, и если б Адам был так же спокоен, как ты, он никогда не имел бы денег, чтоб заплатить за тебя. Не заботься о завтрашнем дне – да, не заботься! – вот что ты говоришь всегда, и что же выходит из этого? И приходится вот Адаму заботиться о тебе!

– Таковы слова Священного Писания, матушка! – сказал Сет. – Это не значит, что мы должны лениться. Это значит, что мы не должны заботиться чересчур и мучить самих себя тем, что может случиться завтра, но должны исполнять нашу обязанность и остальное предоставить воле Божьей.

– Ну да, вот ты говоришь так всегда: ты всегда делаешь целый гарнец твоих собственных слов из пинты выражений Священного Писания. Я не вижу, каким образом ты можешь знать, что все это значит «не заботиться о завтрашнем дне». И если в Священном Писании помещается так много и ты знаешь все, что там есть, то я удивляюсь, почему, выбирая оттуда тексты, ты не выбираешь оттуда текстов получше, таких, которые бы не значили больше, чем они говорят. Адам ведь не выбирает же ничего подобного. Вот я могу понимать текст, который он приводит всегда: «Бог помогает тем, которые помогают себе сами».

– Нет, матушка, – сказал Сет, – это не текст из Священного Писания, это из книги, которую Адам нашел в одном книжном ларе в Треддльстоне. Она была написана человеком известным, но уж чересчур привязанным к свету, кажется. Несмотря на то, это изречение отчасти справедливо, ибо Священное Писание говорит, что мы должны трудиться вместе с Богом.

– Да, но откуда же знать мне это? Оно звучит словно текст. Но что с тобою, родной? Ведь ты почти ничего не ел. Неужели ты не осилишь ничего, кроме этого кусочка овсяного пирога? И ты так бледен, как кусок свежей ветчины. Скажи, что с тобой?

– Не стоит и говорить об этом, матушка! Я не голоден, вот и все. Я вот опять взгляну, что Адам... не даст ли он мне теперь поработать над гробом?

– Не хочешь ли теплого супу? У меня есть капля его, – сказала Лисбет, материнское чувство которой теперь восторжествовало над ее естественной привычкой. – Я в одну минуту разожгу две-три лучинки.

– Нет, матушка, благодарю тебя, ты очень добра, – сказал Сет с чувством и, ободренный этим порывом нежности, продолжал: – Дай мне помолиться вместе с тобою за отца, за Адама, за всех нас: это успокоит тебя, может быть, более, нежели ты думаешь.

– Хорошо. Мне нечего говорить против этого.

Хотя Лисбет в своих разговорах с Сетом всегда охотно становилась на отрицательную сторону, она, однако ж, как-то неясно сознавала, что его набожность заключала в себе некоторое спокойствие и безопасность и избавляла ее от излишних духовных забот в отношении к ней самой.

Итак, мать и сын вместе стали на колени, и Сет молился за бедного заблудшего отца и за тех, которые грустили о нем дома. И когда он дошел до того места, где просил, чтоб Адаму никогда не было суждено перенести своего крова в отдаленную страну, но чтоб его присутствие услаждало и успокаивало его мать во все дни ее земного странствования, то готовые слезы Лисбет полились снова, и она принялась громко рыдать.

Когда они встали, то Сет опять пошел к Адаму и сказал:

– Не хочешь ли прилечь хоть на часок или на два, и дай мне поработать в это время.

– Нет, Сет, нет. Пошли матушку спать и отправляйся сам.

Между тем Лисбет осушила глаза и последовала за Сетом, держа что-то в руках. Это было темно-желтое глиняное блюдо, заключавшее в себе жареный картофель, пропитанный соусом, и кусочки мяса, которые она нарезала и смешала с картофелинами. Это были дорогие времена, когда пшеничный хлеб и свежее мясо были редким кушаньем для рабочего народа. Она с некоторой робостью поставила блюдо на скамейке возле Адама и сказала:

– Ты можешь взять кусочек-другой, пока работаешь. Я принесу тебе еще воды.

– Да, матушка, сделай милость, – сказал Адам ласково. – Я беспреостанно хочу пить.

Через полчаса все в доме стихло: не было слышно никакого звука, кроме громкого стука старых суточных часов и звона адамовых инструментов. Ночь была чрезвычайно тиха: когда Адам отворил в двенадцать часов дверь и взглянул на улицу, то движение, казалось, было единственно лишь в горевших блестящих звездах, каждая былинка предавалась покою.

Физическая поспешность и усилия обыкновенно оставляют наши мысли на волю нашим чувствам и воображению. Так было в эту ночь с Адамом. В то время, когда сильно работали его мускулы, его голова, казалось, находилась в таком же бездействии, как голова зрителя диорамы: сцены грустного прошлого времени и, по всему вероятно, грустного будущего плыли перед ним и в быстрой последовательности уступали место одна другой.

Он видел, как будет завтра утром, после того когда он снесет гроб в Брокстон и придет опять домой позавтракать: может быть, его отец будет уже дома, стыдясь встретить взгляд своего сына. Вот он сидит и кажется старее и дряхлее, нежели казался последним утром. Он опустил голову и рассматривает плиты, из которых сделан пол, между тем как Лисбет спрашивает его, знает ли он, как поспел гроб, от которого он убежал и который бросил не готовым, ибо Лисбет всегда первая произносила слово упрека, хотя она плакалась на строгость Адама в отношении к отцу.

«Так это и будет идти все хуже да хуже, – думал Адам, – ведь нельзя снова скользить вверх на холм, нельзя и остановиться, если уж раз начнешь спускаться».

Потом вспомнилось ему время, когда он был мальчиком и обыкновенно бегал около своего отца, гордясь, что его брали на работу, и гордясь еще более, когда слышал, что его отец, хвастаясь, говорил своим товарищам-работникам: «А ведь парнишка-то имеет необыкновенные способности к плотничьему мастерству». А что за славный, деятельный человек был его отец в то время! Когда Адама спрашивали, чей был он сын, он чувствовал некоторое отличие, когда отвечал: «Матвея Бида». Он был уверен, что Матвея Бида знали все: не он ли сделал эту мастерскую голубятню в священническом доме в Брокстоне? То было счастливое время, особенно когда Сет, который был тремя годами моложе, также начал ходить на работу и Адам

начал быть учителем, будучи в то же время и учеником. Потом наступили дни горя, когда Адаму перешло за тринадцать лет и Матвей начал шататься по шинкам, а Лисбет начала плакать дома и изливать свои жалобы в присутствии сыновей. Адам живо помнил ночь стыда и грусти, когда впервые увидел своего отца совершенно диким и бессмысленным, отрывисто оравшим песню между своими пьяными товарищами в «Опрокинутой телеге». Он уже убежал однажды, когда ему было только восемнадцать лет: он бежал в утренние сумерки, с небольшим синим узелком на плечах и своею книгою для измерений в кармане, и решительно сказал себе, что не может долее переносить домашних огорчений. Он решился идти и искать счастья, слегка втыкая свою палку на перекрестках и направляя шаги в ту сторону, куда она упадет. Но когда он дошел до Стонигона, мысль о матери и Сете, оставшихся дома испытывать горе без него, стала неотступно преследовать, и решимость покинула его. Он вернулся домой на другой же день, но горе и ужас, которые испытала его мать в продолжение этих двух дней, преследовали его с того времени постоянно.

«Нет! – решил теперь Адам про себя. – Этому уж не бывать опять. Ведь мне придется плохо в то время, когда будут взвешиваться мои деяния, если тогда моя бедная старуха мать будет не на моей стороне. Моя спина довольно широка и довольно сильна; я поступил бы, как трус, если б ушел и оставил тех переносить бремя, которые более нежели вдвое слабее меня. „Те, которые сильны, должны переносить слабости тех, которые слабы, а не творить себе удобное“. Вот текст, не нуждающийся в пояснении: он светит собственным своим светом. Довольно ясно, что вы идете ошибочной дорогой в этой жизни, если гоняетесь за тем и за другим ради того только, чтоб сделать себе удобное и приятное. Свинья может, сунув морду в корыто, не думать ни о чем вне корыта; но если в тебе есть человеческое сердце и душа, то ты не можешь быть покоен, делая себе постель, а остальным предоставляя лежать на камнях. Нет, я никогда не высвобожу выи из-под ярма, никогда не допущу, чтоб бремя тащили слабые. Отец – тяжелый крест для меня, и, может быть, мне придется нести этот крест еще много лет. Но что ж делать! Я крепок здоровьем, мои члены сильны, мой дух тверд для того, чтоб переносить это».

В эту минуту раздался резкий удар в дверь, нанесенный, казалось, ивовым хлыстиком, и Джип, вместо того чтоб залаять, что, конечно, следовало ожидать, издал громкий вой. Адам, внезапно встревоженный, быстро подошел к двери и отворил ее. Не видно было ничего; все было тихо, как за час тому назад, когда он отворял дверь. Листья были неподвижны, и блеск звезд открывал тихие поля по обеим сторонам ручейка, совершенно лишённые всякой видимой жизни. Адам обошел вокруг дома и все-таки не увидел ничего, кроме крысы, стремглав бросившейся в дровяной подвал, когда он проходил. Он снова вошел в дом, удивляясь. Звук был такой странный, что в ту минуту, когда Адам услышал его, этот звук вызвал в нем мысль о том, что по двери ударили ивовым хлыстиком. Он не мог не содрогнуться, вспомнив, как часто говорила ему мать, что совершенно такой звук служит знаком, когда кто-нибудь умирает. Адам не принадлежал к числу людей суеверных без всякого основания, но вместе с кровью ремесленника в нем текла кровь крестьянина, а крестьянин не может не верить в суеверие, основанное на предании, подобно тому, как лошадь не может не дрожать, когда видит верблюда. Кроме того, он обладал тем умственным соображением, которое в одно и то же время бывает весьма смиренно в области таинственности и смело в области знания: его отвращение к доктринерной религии происходило столько же от глубокого благоговения к откровенной религии, сколько от его твердого здравого смысла, и он часто удерживал доказательный спиритуализм Сета, обращаясь к нему с следующими словами: «Э, это великая тайна, и ты знаешь об этом очень мало». Таким образом, Адам был в то же время и проницателен, и легковерен. Если обваливалось новое строение и ему говорили, что это произошло по Божьей воле, то он сказал бы непременно: «Может быть, но крыша и стены не находились друг к другу в верном отношении, иначе не могло бы развалиться», и все-таки он верил в сновидения и предвещения, и вы видели, что он содрогнулся при мысли об ударе ивовым хлыстиком.

Но он имел лучшее противоядие от воображаемого страха в необходимости продолжать свою работу, и в продолжение следующих десяти минут его молоток стучал так безостановочно, что другие звуки, если они только были, были им заглушаемы. Несмотря на то наступила пауза, когда он должен был поднять линейку, и тогда снова раздался странный удар и снова завыл Джин. Адам подскочил к двери, не теряя ни секунды, но снова все было тихо, и блеск звезд показывал, что перед избою не было ничего, кроме покрытой росой травы.

Адам с минуту с беспокойством подумал об отце; но в последние годы он никогда не возвращался домой в позднее время из Треддльстона, и можно было весьма основательно предполагать, что он в то время просыпал свой хмель в «Опрокинутой телеге». Кроме того, для Адама мысль о будущем была так неразлучна с горестным призраком его отца, что опасение рокового события, которое могло случиться с ним, вытеснялось глубоко врезающеюся боязнью при его постепенном унижении. Его следующая мысль заставила его снять башмаки и осторожно подняться вверх по лестнице, для того чтоб послушать у дверей спальни. Но Сет и его мать дышали правильно.

Адам сошел вниз и опять принялся за работу, подумав:

«Я больше не отопру дверей. К чему еще высовываться, для того чтобы увидеть звук! Может, нас окружает мир, которого мы не можем видеть, но ухо пронизательнее глаза и по временам схватывает звук, принадлежащий другому миру. Есть люди, думающие, что они и видят этот мир, но по большей части глаза таких людей не слишком-то годятся к чему-либо другому. По мне, так лучше посмотреть, верна ли отвесная линия, нежели пойти отыскивать привидение».

Подобные мысли становятся тверже и тверже, когда дневной свет гасит свечи и птицы начинают петь. Скоро красный солнечный свет заиграл на медных гвоздях, образовывавших начальные буквы на крышке гроба, и все оставшиеся в сердце Адама предчувствия, возбужденные странным звуком, исчезли, получив удовлетворение в том, что дело было окончено и обещание искуплено. Адаму не нужно было звать Сета, ибо последний уже шевелился наверху и тотчас же сошел вниз.

– Ну, брат, – сказал Адам, когда вошел Сет, – гроб готов, и мы можем нести его в Брокстон и возвратиться домой еще раньше половины седьмого. Я только съем кусочек овсяного пирога, а потом и в путь.

Вскоре гроб был поднят на высокие плечи двух братьев, и они в сопровождении Джипа, шедшего за ними по пятам, отправились в путь, выйдя с небольшого дровяного двора на дорогу, пролежавшую позади дома. До Брокстона по другую сторону покатости было всего около полторы мили, и путь братьев извивался по прелестным тропинкам и через поля, где бледная жимолость и дикие розы, росшие около изгороди, наполняли воздух благоуханием и где птицы чирикали и заливались трелью на высоких, покрытых листьями ветках дуба и вяза. То была чудно смешанная картина – свежая юность летнего утра с райскою тишиной и прелестью, бравая сила двух братьев в поношенной рабочей одежде и длинный гроб на их плечах. Их последний отдых был у небольшой фермы перед деревнею Брокстон. К шести часам работа была кончена, гроб заколочен, и Адам и Сет находились уже на пути домой. Они избрали кратчайший путь, который вел через поля и через ручеек к дому с лицевой стороны. Адам не сообщил Сету, что случилось ночью, но сам он все еще находился под впечатлением случившегося и потому сказал:

– Сет, если отец не возвратится домой после нашего завтрака, я думаю, ты поступил бы хорошо, если б отправился в Треддльстон и поискал его... Кстати, ты можешь купить мне там и медную проволоку, которая мне нужна. Это ничего, что ты потеряешь лишний час, – мы можем наверстать впоследствии. Как ты думаешь об этом?

– Я согласен, – сказал Сет. – Но посмотри-ка, что за тучи собрались с тех пор, как мы вышли? Я думаю, что пойдет сильный дождь. Это будет дурно для уборки сена, если поля будут

снова затоплены. Ручей теперь полон, и воды в нем много; если дождь пойдет еще один день, то вода покроет доску, и нам придется тогда делать порядочный круг, чтоб попасть домой.

Они в то время пересекали долину и шли по пастбищу, по которому протекал ручей.

– Что там такое торчит у ивы? – продолжал Сет, ускоряя шаги.

Сердце Адама сжалось от тягостного предчувствия: неопределенное беспокойство об отце заменилось большим страхом. Он не отвечал Сету, но побежал вперед, предшествуемый Джипом, который начал лаять с беспокойством. В две минуты он был уже у моста.

Так вот что значило предзнаменование! И седовласый отец, о котором только за несколько часов перед тем Адам думал с некоторой жестокостью в той уверенности, что отец проживет еще довольно долго и будет для него предметом больших беспокойств, в то самое время, может быть, боролся со смертью в этой воде. Вот была первая мысль, как молния, озарившая совесть Адама, прежде нежели он успел схватить за куртку и вытащить высокое тяжелое тело. Сет уж был подле него, помогая ему, и когда оба сына вытащили тело на берег, то в первые минуты стали на колени и с немым ужасом смотрели на безжизненные стеклянные глаза, забывая, что им нужно было действовать, забывая все на свете перед отцом, который лежал перед ними мертвый. Адам первый прервал молчание.

– Я побегу к матери, – сказал он громким шепотом, – и возвращусь в одну минуту.

Бедная Лисбет была занята приготовлением завтрака для своих сыновей, и похлебка их, стоявшая на огне, начинала уже закипать. Кухня хозяйки могла во всякое время служить образцом чистоты, но в это утро Лисбет более обыкновенного старалась придать очагу и обеденному столу приличный и заманчивый вид.

– Ведь оба они устанут и проголодаются, мои голубчики, – говорила она вполголоса, мешая похлебку. – Неблизкое место Брокстон, да и каково-то идти по открытой горе... да еще с этим тяжелым гробом. Э! а ведь он стал теперь еще грузнее с бедным Бобом Толером. Зато я сегодня сварила похлебки-то побольше всегдашнего. Может, придет и отец и захочет после поесть. Не то что он много съест похлебки... Он, вишь вот, бросает полшиллинга на эль, а на похлебке так старается сберечь и полпенса... вот как он выдает мне деньги... да я и не раз говорила ему про это и опять скажу ему еще сегодня. Ах, бедняжка! ведь он слушает меня довольно спокойно, надо сказать правду.

Но в то время Лисбет услышала тяжелый звук шагов по лугу и, быстро повернувшись к дверям, увидела входившего Адама. Его лицо было так бледно и искажено, что она громко вскрикнула и бросилась к нему, прежде чем он успел произнести хоть слово.

– Полно, матушка, – сказал Адам хриплым голосом, – не пугайся. Отец упал в воду. Может, нам удастся еще привести его в себя. Сет и я принесем его тотчас домой. Достань одеяло и нагрей его перед огнем.

На деле Адам вовсе не сомневался, что отец был мертв, но он знал, что не было другого средства подавить сильную, выражающуюся жалобами печаль матери, как только заняв ее каким-нибудь действительным делом, в котором заключалась надежда.

Он побежал назад к Сету, и оба сына, пораженные до глубины души горем, безмолвно подняли тяжесть. Широко открытые стеклянные глаза были серы, как Сетовы, и с кроткою гордостью смотрели некогда на мальчиков, перед которыми впоследствии Матвей не раз опускал со стыдом голову. Чувства, преобладавшие в сердце Сета при этой внезапной потере отца, были страх и горечь; мысли же Адама стремительно возвращались к прошедшему потоком сожаления и раскаяния. Когда пришла смерть, великая примирительница, то мы никогда не раскаиваемся в своей нежности к покойнику – а в своей суровости к нему.

У. Приходский священник

До двенадцати часов шел несколько раз проливной дождь, и в глубоких канавах, находившихся по обе стороны усыпанных песком аллей в саду священника в Брокстоне, стояла вода по самые края. Большие провансальские розы были жестоко поколеблены ветром и побиты дождем. Нежные стебельки цветов, насаженных по краям дорожек, были наклонены книзу и запачканы сырою землею – словом, утро имело меланхолический вид, потому что время подходило к сенокосу, а между тем надо было ожидать, что потопятся поля.

Но люди, обладающие приятными домами, предаются в своих домах удовольствиям, о которых вспоминают только в дождливое время. Если б утро не было сырое, то мистер Ирвайн не сидел бы в столовой и не играл в шахматы со своею матерью; а он очень любит и свою мать и шахматы, так что при их помощи довольно сносно может провести несколько пасмурных часов. Позвольте мне взять вас в эту столовую и представить вам почтенного Адольфуса Ирвайна, брокстонского приходского священника, геслонского и блейтского викария, плюралиста, на которого самые суровые церковные реформаторы едва ли нашли бы возможным взглянуть кисло. Мы войдем очень осторожно и остановимся в открытых дверях, стараясь не разбудить лоснистой темной легавой собаки, растянувшейся у печки возле своих двух щенков, или моськи, которая дремлет, подняв кверху свою черную морду, подобно какому-нибудь сонливому председателю.

Комната обширная и высокая, на одном конце ее широкое полукруглое окно; стены, вы видите, новы и еще не выкрашены, но мебель, хотя первоначально и дорогая, стара и немногочисленна, на окне нет никакой занавески. Малиновая скатерть на большом обеденном столе довольно потерта, хотя и составляет приятный контраст с мертвым цветом штукатурки на стенах, но на этой скатерти находится массивный серебряный поднос и на нем кувшин с водою, два другие подноса, одинакового фасона с первым, но только больше, поставлены на буфете, на середине их виднеется щит с гербом. Вы с первого взгляда подозреваете, что обитатели этой комнаты наследовали больше крови, нежели богатства, и нисколько не удивились бы, заметив, что мистер Ирвайн имеет тонко очерченные верхнюю губу и ноздри, но в настоящее время мы можем видеть только широкую плоскую спину и густые напудренные волосы, которые все отброшены назад и связаны сзади черною лентою – некоторый консерватизм в costume, убеждающий вас в том, что он уже не молодой человек. Он, может быть, обернется впоследствии, а между тем мы можем посмотреть на эту величественную старую леди, его мать, красивую, пожилую брюнетку, которой прекрасный цвет лица еще более возвышается сложным убором из белого, как снег, батиста и кружев вокруг головы и шеи. В своей грациозной дородности она стройна, как статуя Цереры, и ее темное лицо, с изящным орлиным носом, твердым, гордым ртом и небольшими, проницательными черными глазами, имеет такое умное и саркастическое выражение, что вы инстинктивно заменяете шахматы колодою карт, представляя себе, что она предсказывает вам будущее. Небольшая смуглая рука, которою она поднимает королеву, вся в жемчугах, брильянтах и бирюзе; к самому верху ее чепчика с большою тщательностью прикреплен большой черный вуаль, падающий складками вокруг ее шеи и образующий резкий контраст с белым батистом и кружевами. Много требуется времени для того, чтоб одеть эту старую леди утром! Но кажется, таков закон природы, чтоб она была одета таким образом: очевидно, что она одна из тех потомков королевского достоинства, которые никогда не сомневались в своем божественном праве и никогда не встречались с теми, кто бы дерзнул оспаривать его у них.

– Ну, Адольф, скажите мне, что это такое? – говорит величественная старая леди, весьма спокойно поставив свою королеву и скрестив руки. – Мне очень не хотелось бы произнести слово, которое было бы неприятно вашим чувствам.

– Да вы просто чародейка, волшебница! Каким образом может христианин выиграть у вас? Вы выиграли эту игру нечистыми средствами, в таком случае и не хвастайтесь этим.

– Конечно, конечно. Вот так побежденные говорили всегда о великих завоевателях. Но посмотри, вот солнечные лучи падают на доску, чтоб яснее показать тебе, какой глупый ход сделал ты своей шашкой. Что ж, желаешь ли ты, чтоб я дала тебе еще шанс?

– Нет, матушка, я оставлю вас одних на суд вашей совести. Так как теперь начинает проясняться, мы должны идти и немножко поплескаться в грязи. Не правда ли, Джуно?

Эти слова относились к коричневой легавой собаке, которая вскочила при звуке голосов и вкрадчиво положила нос на ногу своего господина.

– Но сначала я должен подняться наверх и посмотреть на Анну. Прежде, в то время как я было шел к ней, меня отозвали на похороны Толера.

– Это совершенно бесполезно: она не может говорить с тобою. Кет говорит, что у нее сегодня опять самая страшная головная боль.

– О! Она радуется каждый раз, когда я прихожу к ней и смотрю на нее; как бы ни была она больна, мой приход никогда не беспокоит ее.

Если вы знаете, сколько слов люди говорят только по привычке и без всякого преднамеренного побуждения, то вы не удивитесь, когда я скажу вам, что одно и то же возражение, за которым следовал всегда тот же ответ, было произнесено несколько сот раз в течение пятнадцати лет, в которые сестра мистера Ирвайна, Анна, хворала. Великолепные старые леди, которым нужно много времени утром для того, чтоб одеться, имеют нередко очень незначительную симпатию к хворым дочерям.

Но в то время, когда мистер Ирвайн все еще сидел, прислонясь спиной к креслу и глядя по голове Джуно, в дверях показался лакей и сказал:

– Джошуа Ранн, сэ, хочет видеть вас, если вы свободны.

– Велите ему войти сюда, – сказала мистрис Ирвайн, взяв в руки вязанье. – Я охотно слушаю, когда говорит мистер Ранн. У него уж, верно, башмаки выпачканы в грязи: посмотрите же, Карроль, чтоб он вытер их хорошенько.

Чрез две минуты мистер Ранн появился в дверях, с весьма почтительными поклонами, которые, однако ж, далеко не успокоили моськи, издавшей громкий лай и побежавшей по комнате для рекогносцировки ног новоприбывшего. Два щенка, смотревшие на выдававшиеся икры и на полосатые шерстяные чулки с более чувственной точки зрения, возились около них и ворчали с большим наслаждением. Между тем мистер Ирвайн повернул кресло и сказал:

– А, Джошуа, разве случилось что-нибудь в Геслопе, что вы пришли сюда в такую сырую погоду? Садитесь, садитесь. Не церемоньтесь с собаками, дайте им приятельский тычок. Сюда, моська, негодяй!

Есть на свете лица, которые, когда обращаются к нам, производят весьма приятное ощущение; они производят такое же приятное ощущение, как внезапная струя теплого воздуха зимою или блеск света в холодных сумерках. Мистер Ирвайн имел именно такое лицо. Он имел такого рода сходство с своей матерью, какое имеет наше воспоминание о лице любимого друга с самим лицом; все черты были великодушнее, улыбка яснее, выражение теплее, если б контур не был очерчен так тонко, то его лицо можно было бы назвать веселым, но это слово не шло к нему, потому что лицо мастера Ирвайна выражало и простодушие, и сознание превосходства.

– Благодарю, ваше преподобие, – отвечал мистер Ранн, стараясь принять вид, что вовсе не заботится о своих ногах, но попеременно трясая ими для того, чтоб удерживать щенков от нападений. – Я постою, если позволите: это приличнее. Надеюсь, что вы и мистрис Ирвайн здоровы, а также и мисс Ирвайн... и мисс Анна, надеюсь, что они по-прежнему здоровы.

– Да, Джошуа, благодарю вас. Вы видите, какой цветущий вид имеет матушка. Она бьет нас, молодой народ, решительно наповал. Но в чем же дело?

– Да вот, сэр, мне нужно было побывать в Брокстоне, чтоб снести свою работу. Я и счел за долг свой зайти к вам и уведомить о том, что происходит у нас в деревне. Таких вещей я не видал во всю мою жизнь, а я прожил в деревне, мальчишкой и взрослым, вот будет в Фомин день шестьдесят лет. Я собирал к Пасхе подать для мистера Блика, прежде чем ваше преподобие изволили прибыть в приход, присутствовал всегда при звоне, при рытье всех могил и пел в хоре долгое время прежде, чем пришел Бартль Массей – бог весть откуда! – со своим контрапунктом и антифонами, который всех, кроме самого себя, сбивает с такту... и выходит, что один начинает, а другой следует за ним, как блеют овцы на выгоне... Я знаю, что должен делать приходский дьячок, и знаю, что было бы неуважением с моей стороны в отношении к вашему преподобию, и к церкви, и к королю, если б я допустил эти вещи, не сказав о них ни слова. Я был поражен изумлением, не зная ничего об этом прежде; я был так взволнован, как будто выронил из рук мои инструменты. Я не мог спать больше четырех часов вот в эту ночь, которая прошла; да и этот сон был такой беспокойный, что я утомился более, чем если б совсем не спал.

– Но что же такое случилось, Джошуа? Уж не пытались ли опять воры украсть свинец с крыши?

– Воры! Нет, сэр... а между тем можно сказать, что это есть воры и также кража церковная. Извольте видеть: очень вероятно, что методистки сдержат превосходство в приходе, если вашему преподобию и их милости сквайру Донниторну не угодно будет сказать слово и запретить это. Не то чтоб я осмелился предписывать вам, сэр, – я никогда не посмею забыться до того, чтоб быть умнее своих высших; однако ж умен ли я или нет – это все равно, не в этом и дело, но я хотел только сказать вам и говорю, что молодая женщина, методистка, которая гостит у мистера Пойзера, проповедовала и молилась на Лугу вчера вечером. Это так же верно, как то, что в настоящую минуту я имею счастье находиться перед вашим преподобием.

– Проповедовала на Лугу? – сказал мистер Ирвайн с удивленным видом, но совершенно спокойно. – Эта бледная, хорошенькая молодая женщина, которую я видал у Пойзера? Я видел, что она была методистка, или квакерша, или что-нибудь в этом роде, по ее платью, но не знал, что она проповедница.

– Вы можете совершенно верить тому, что я говорю, сэр, – возразил мистер Ранн, сжав рот полукругом, и, помолчав так долго, что после его слов можно было поставить три восклицательных знака, продолжал: – Она проповедовала на Лугу вчера вечером и принялась за Чадову Бесс так, что с ней сделался припадок, и она с тех пор не перестает плакать.

– Ну, да Бесси Кренедж, кажется, здоровая девушка, я совершенно уверен, что у нее это пройдет, Джошуа... Ну, а из других ни с кем больше не было припадков?

– Нет, сэр, не могу сказать этого. Но нельзя знать, что случится, если такие проповеди, как вчера, будут происходить каждую неделю... тогда от них не будет и житья в деревне. Видите ли, эти методисты заставляют людей верить, что если они выпьют лишнюю рюмку для веселья, то за это они пойдут в ад. Это так же верно, как то, что они родились. Я не запивоха, не пьяница – никто не может сказать этого про меня, – но я люблю выпить лишнюю рюмку в Пасху или в Рождество, что и естественно, когда мы ходим ко всем и поем и люди предлагают нам вино даром, или когда я собираю подать, и я люблю выпить пинту с трубкой, по временам поболтать у соседа, мистера Кассона, потому что я был воспитан в церкви, благодаря Бога, и был приходским дьячком целые тридцать два года, ведь я уж должен знать, что такое господствующая религия.

– Ну, что же вы советуете, Джошуа? Что же нужно делать, по вашему мнению?

– Видите, ваше преподобие, я не стану советовать, чтоб вы приняли какие-нибудь меры против молодой женщины. Она женщина хорошая, если б только перестала заниматься вздором; притом же я слышал, что она вот скоро возвратится домой на родину. Она родная племянница мистера Пойзера, и я не желаю сказать ничего сколько-нибудь неуважительного о

семействе, живущем на мызе... я ведь ходил к ним и снимал у них со старых и малых мерку для башмаков почти все время, что я занимаюсь башмачным мастерством. Но там есть Билль Маскри, сэр, это самый отчаянный методист, какой только может быть, и я нисколько не сомневаюсь, что это он подстрекнул молодую женщину проповедовать вчера вечером, да он приведет с собою других из Треддльстона проповедовать, если не сбить с него немного спеси. Я думаю, ему следует дать знать, что ему не станут более отдавать делать и чинить церковные телеги и снаряды и что его выгонят из дома и со двора, которые он получает в наем от сквайра Донниторна.

– Но вы сами говорите, Джошуа, что прежде, сколько вам известно, никто не приходил проповедовать на Лугу, почему же вы думаете, что другие придут опять? Методисты не приходят проповедовать в такие небольшие деревни, как Геслоп, где только какая-нибудь горсть работников, которые обыкновенно бывают слишком утомлены для того, чтоб слушать их. Им почти так же бесполезно проповедовать в Геслопе, как и на совершенно безлюдных Бинтонских Горах. Кажется, Билль Маскри сам не проповедник?

– Нет, сэр, у него нет дара связывать слова без книг, он увяз бы так же скоро, как корова в сырой земле. Но у него довольно длинный язык для того, чтоб неуважительно говорить о своих ближних, потому что он вот сказал про меня, что я слепой фарисей... который употребляет Священное Писание для того только, чтоб давать прозвища людям, которые старше и лучше меня!.. А еще хуже всего то, что слышали, как он весьма неприлично выражался о вашем преподавании... я мог бы привести людей, которые готовы побожиться, что слышали, как он называл вас безгласным псом и беспечным пастухом. Прошу извинить меня, ваше преподавание, в том, что я передаю такие вещи.

– Лучше не передавать, конечно. Пусть злые речи умирают в ту же минуту, как они произнесены. Билль Маскри мог бы быть гораздо хуже, нежели он есть теперь. Мне говорили, что он был буйный пьяница, не радел о деле и бил жену, теперь же он стал бережлив и скромн, он и жена его имеют оба довольно приличный вид. Если вы можете представить мне какое-нибудь доказательство того, что он ссорится с своими соседями и производит беспокойство, то я, как священник и судья, буду считать своею обязанностью вмешаться в это дело. Но умным людям, как вы да я, было бы неприлично хлопотать о пустяках, как будто мы думаем, что церковь находится в опасности, потому что Билль Маскри позволяет своему языку молотить вздор или молодая женщина говорит серьезно перед горстью людей на Лугу. Мы должны жить и давать жить, Джошуа, как относительно религии, так относительно и всего прочего. Продолжайте исполнять свою обязанность приходского дьячка, пономаря и могильщика, и исполнять ее так, как вы всегда исполняли, и делать своим соседям отличные толстые сапоги, и я уверен, что в Геслоне не случится ничего особенно дурного.

– Ваше преподавание очень добры, говоря таким образом, и я вполне чувствую, что так как вы сами не живете в приходе, то на мои плечи падает большая ответственность.

– Конечно, и вы должны заботиться о том, чтоб не унижать достоинства церкви в глазах людей, Джошуа, и потому вы не должны показывать вид, что испугались такой ничтожной безделицы. Я полагаюсь на ваш здравый смысл и надеюсь, что вы не обратите никакого внимания на то, что говорит Билль Маскри, все равно – о вас или обо мне. Вы и ваши соседи можете себе по-прежнему умеренно пить пиво, когда вы окончили свою дневную работу, как подобает хорошим церковникам, и если Билль Маскри не захочет присоединиться к вам, а вместо того отправится на митинг методистов в Треддльстон, то и не трогайте его: это до вас не касается, пока он не мешает вам делать то, что вам нравится. Что ж касается людей, говорящих дурно о нас, то мы не должны обращать на это никакого внимания, подобно тому как старая церковная колокольня не обращает никакого внимания на грачей, каркающих около нее. Билль Маскри ходит в церковь каждое воскресенье после обеда и в будни прилежно занимается своим мастерством колесника, и, пока он ведет себя таким образом, его надо оставить в покое.

– Ах, сэръ, но когда он приходит в церковь, то сидит и качает головой и строит такие кислые и дурацкие физиономии, когда мы поем, что мне так и хочется хватить его по роже, прости Господи, и вы, мистрис Ирвайн, и ваше преподобие, извините меня, что я перед вами выражаюсь таким образом. Он сказал также, что наше пение об Рождестве нисколько не лучше треска хвороста под чугуном.

– Ну, что ж! У него ухо немзыкальное, Джошуа. Вы знаете, если у кого деревянная голова, то уж этому нельзя помочь ничем. Он не заставит людей в Геслопе принять его мнения, когда вы будете петь так хорошо, как умеете.

– Конечно, сэръ, но ведь желудок поворачивается, когда слышишь, что Священное Писание извращают таким образом. Я знаю Священное Писание нисколько не хуже его и верно прочту псалмы даже и во сне, если вы ущипнете меня, но я знаю, что лучше вовсе не читать их, если я намерен объяснять их по-своему.

– Ваше замечание очень умно, Джошуа, но я сказал уже прежде...

В то время, как мистер Ирвайн произносил эти слова, на каменном полу передней залы раздался звук сапог и звон шпоры, и Джошуа Ранн быстро отодвинулся в сторону от дверей для того, чтоб дать место человеку, который остановился в дверях и звучным тенором произнес:

– Крестник Артур... можно войти?

– Можно, можно, крестник! – отвечала мистрис Ирвайн густым полумужским голосом, свойственным старым женщинам крепкого сложения.

И в комнату вошел молодой джентльмен в платье для верховой езды; его правая рука покоилась на перевязи. Появление его сопровождалось приятною смесью междометий, выражавших смех, рукопожатий и восклицаний «Как вы поживаете?», перемешивавшихся с радостным коротким лаем и виляньем хвостами со стороны собачьих членов семейства. Последнее доказывало, что посетитель находится в лучших отношениях с теми, кого он посетил. Молодой джентльмен был Артур Донниторн, известный в Геслопе под различными названиями: «молодой сквайр», «наследник» и «капитан». Он был только капитаном в ломшейрской милиции; но для геслопских фермеров он был важнейшим капитаном, нежели все молодые джентльмены того же чина в регулярных войсках его величества: он помрачал их своим блеском, как планета Юпитер помрачает своим блеском Млечный Путь. Если вы хотите точнее знать, какая была у него наружность, то призовите себе на память какого-нибудь молодого англичанина с темными бакенбардами и усами, с темно-русыми локонами и здоровым цветом лица, которого вы встречали в чужом крае и которым гордились как своим соотечественником, молодого англичанина чисто умытого, благовоспитанного, белоручку, а между тем имеющего вид человека, который, отпарировав удар левою рукою, правую легко может положить своего противника. Я не буду также настолько портным, чтоб обеспокоить ваше воображение различием костюма и настаивать на полосатом жилете, на сюртуке с длиною талией и на сапогах с длинными отворотами.

Повернувшись для того, чтоб взять кресло, капитан Донниторн сказал:

– Но я не намерен прерывать долее Джошуа... У него есть какое-то дело.

– Смирненно прошу извинения у вашей милости, – сказал Джошуа, низко кланаясь. – Мне нужно было сказать вашему преподобию об одном, а между тем другие предметы вытеснили это вон из моей головы.

– Ну, говорите же, Джошуа, говорите скорее, – сказал мистер Ирвайн.

– Может, сэръ, вы не слышали, что Матвей Бид умер... Он утонул сегодня утром... или скорее на рассвете... в Ивовом Ручье, у самого моста, прямо против дома.

– Ах! – в один голос воскликнули оба джентльмена, как бы очень заинтересованные этой новостью.

– Сет Бид был у меня сегодня утром и просил меня передать вашему преподобию, что его брат, Адам, очень просит вас позволить ему вырыть могилу у Белого Терна, так как его мать непременно желает этого вследствие виденного ею сна. Они и сами пришли бы просить

вас о том, но им много хлопот с следственным приставом и прочим; а их мать очень взволнованна и боится, чтоб кто-нибудь другой не занял места, о котором они просят. Если вашему преподобию угодно будет дозволить им это, то я пошлю к ним мальчика, лишь только вернусь домой. Вот почему я осмеливаюсь беспокоить вас этим, несмотря на приход их милости.

– Конечно, конечно, Джошуа, им можно дозволить это. Я сам съезжу к Адаму, чтоб повидаться с ним. А вы все-таки пошлите вашего мальчика сказать им, что они могут рыть могилу, на случай, если меня задержит что-нибудь неожиданное. А теперь прощайте, Джошуа. Сходите на кухню: там дадут вам элю.

– Бедный старик Матвей! – сказал мистер Ирвайн, когда Джошуа вышел из комнаты. – Я думаю, пьянство втащило его в ручей. Я был бы рад, если б бремя было снято с плеч моего друга Адама не столь горестным образом. Этот славный малый удерживал своего отца от гибели в последние пять или шесть лет.

– Он настоящий козырь, этот Адам, сказал капитан Донниторн. Когда я был маленьким мальчиком, а Адам был статный парень лет пятнадцати и учил меня плотничьему мастерству, то я мечтал всегда, что если б был богатым султаном, то сделал бы Адама своим великим визирем, и я уверен, что он перенес бы свое возвышение не хуже всякого другого бедного мудреца в восточной сказке. Если когда-нибудь в жизни я сделаюсь владельцем обширных поместий, перестав быть бедняком и забирать карманные деньги вперед, то я сделаю Адама моею правою рукой. Он будет управлять у меня лесами, потому что он, кажется, знает в этих вещах больше толку, чем кто-либо из людей, которых я только встречал в жизни. Я знаю, что он получал бы с них денег вдвое против того, что получает дедушка со своим управителем, этим жалким стариком Сачеллем, который столько же понимает в лесе, как старый карп. Я уж говорил дедушке об этом раза два, но – не знаю, по какой причине – он не расположен к Адаму, и я ничего не могу сделать. Но, ваше преподобие, не угодно ли вам будет прокатиться верхом вместе со мною? Солнце светит ярко на улице теперь. Если хотите, мы вместе можем отправиться к Адаму, но на дороге мне нужно будет заехать на мызу, чтоб взглянуть на щенят, которых Пойзер оставил для меня.

– Сначала вы должны остаться здесь и позавтракать, Артур, – сказала мистрис Ирвайн. – Ведь скоро два часа. Карроль сейчас подаст завтрак.

– Мне также надобно побывать на мызе, – сказал мистер Ирвайн, – чтоб еще раз посмотреть на маленькую методистку, которая остановилась там. Джошуа рассказывал, что она проповедовала на Лугу вчера вечером.

– Ах, Создатель мой! – сказал капитан Донниторн, смеясь. – А ведь с виду она кажется такую тихую, как мышь. Впрочем, в ней есть что-то поражающее. Я положительно оробел, увидев ее в первый раз: она сидела, нагнувшись над своим шитьем, на солнце перед домом, а я, подъехав к дому и не заметив, что она была чужая, закричал ей: «Мартин Пойзер дома?» Уверю вас, что, когда она встала, посмотрела на меня и тотчас же сказала: «Он, кажется, в доме, я пойду и позову его», то мне просто стало стыдно, что я заговорил с нею так отрывисто. Она очень походила на святую Екатерину в квакерской одежде. У нее такое лицо, какое редко удастся увидеть между нашим простым народом.

– Мне очень хотелось бы видеть молодую женщину, Адольф, – сказала мистрис Ирвайн. – Заставь ее прийти сюда под каким-нибудь предлогом.

– Не знаю, матушка, каким образом мог бы я устроить это. Ведь не совсем идет мне покровительствовать проповеднице-методистке, даже и в таком случае, если б она была согласна на то, чтоб ей покровительствовал беспечный пастух, как называет меня Билль Маскри. Вам следовало бы прийти немного раньше, Артур, вы услышали бы, как Джошуа доносил на своего соседа Билля Маскри. Старик требует, чтоб я отлучил от церкви колесника и потом передал его гражданской власти... то есть вашему деду... чтоб выгнать его из дома и со двора. Если б я вздумал вмешаться в это дело, то мог бы поднять такую славную историю о ненависти

и гонении, какую нужно желать методистам для напечатания в следующем номере их журнала. Мне не стоило бы большого труда убедить Чада Борнеджа и с полдюжины других таких же, как он, дураков в том, что они оказали бы приятную услугу церкви, если б вытравивили Билля Маскри из деревни веревками и вилами, и потом, когда я снабдил бы их полсувереном для того, чтоб они могли славно выпить после своих подвигов, тогда я произвел бы такой отличный фарс, какого не сочинил в своем приходе ни один из моих братьев духовных в продолжение последних тридцати лет.

– Впрочем, это действительно дерзость со стороны этого человека называть тебя беспечным пастухом и безгласным псом, – сказала мистрис Ирвайн. – На твоём месте я заставила бы его прикусить язык. У тебя уж слишком спокойный характер, Адольф!

– Неужели, матушка, вы думаете, что я хорошо бы поддержал свое достоинство, если б стал защищаться против клеветы Билля Маскри? Притом же я не знаю, клевета ли это. Я действительно лентяй и очень тяжело расстаюсь со своим седлом, уже не упоминая о том, что я всегда трачу на кирпичи и известь больше, нежели позволяет мой доход, так что обхожусь с ним, как дикий с хромым нищим, когда он просит у меня полшиллинга. Эти бедные, тощие чеботари, которые думают, что они могут содействовать к возрождению человеческого рода тем, что отправляются проповедовать в утренние сумерки до начала своей дневной работы, вправе иметь обо мне жалкое мнение... Но я думаю, нам можно и позавтракать. Что, Кет не пришла еще к завтраку?

– Мисс Ирвайн приказала Бригитте подать завтрак наверх, – сказал Карроль. – Она не может оставить мисс Анну.

– О, очень хорошо! Сообщите Бригитте, пусть она скажет, что я тотчас поднимусь наверх – хочу видеть мисс Анну. Вы уже довольно хорошо можете владеть правою рукою, Артур? – продолжал мистер Ирвайн заметив, что капитан Доннигорн высвободил свою руку из перевязи.

– Да, довольно хорошо, но Годвин настаивает на том, чтоб я держал ее на перевязи еще в продолжение некоторого времени. Я, однако ж, надеюсь, что буду в состоянии возвратиться в полк в начале августа. Что за страшная скука находиться взаперти на даче в летние месяцы, когда нельзя ни охотиться, ни стрелять, так что поневоле вечером чувствуешь приятную дремоту! Как бы то ни было, мы, однако ж, увидим эхо тридцатого июля. Дедушка дал мне *carte blanche* на один раз, и я обещаю вам, что пир будет достоин случая. Свет не дважды увидит великую эпоху моего совершеннолетия. Я думаю, у меня будет высокий трон для вас, крестная, или даже два, один на лужке, а другой в бальной зале, и вы будете сидеть и смотреть на нас как олимпийская богиня.

– А я намерена приготовить мою лучшую парчу, которую я надевала в ваши крестины, двадцать лет тому назад, – сказала мистрис Ирвайн. – Ах, я думаю, что увижу вашу бедную матушку, порхающую в своем белом платье, которое в тот самый день казалось мне очень похожим на саван; и оно стало ее саваном только три месяца спустя, и ваш чепчик и одежда, в которой вас крестили, также были похоронены с нею: она непременно настаивала на этом – милое создание! Благодаря Богу, вы походите на семейство вашей матери, Артур! Если б вы были жалкий, жиденький, бледный ребенок, то я не согласилась бы быть вашею крестною матерью, ибо тогда я была бы уверена, что из вас выйдет Донниторн. Но вы были такой круглолицый, широкогрудый, звонкоголосый плутишка, и я по этому узнала, что вы с головы до ног Традожегг.

– Но, матушка, вы, может быть, сделали в то время уж слишком быстрое заключение, – сказал мистер Ирвайн, улыбаясь. – Помните, что случилось в то время, когда Джуно оценилась в последний раз? Один из щенков походил как две капли воды на свою мать, тем не менее он имел два-три отцовские качества. Природа довольно хитра и может обмануть даже вас, матушка!

– Вздор, мой милый! Природа никогда не создает хоряка в образе бульдога. Вы никогда не убедите меня в том, что я не могу судить о людях по их наружному виду. Если мне не нравится лицо человека, то я никогда не буду расположена к нему, будьте уверены в том. Я не хочу знать людей, имеющих безобразный и неприятный вид, так же точно, как не хочу пробовать кушанья, имеющие неприятный вид. Если они заставят меня содрогнуться с первого взгляда, я говорю тогда: «Возьмите их прочь». Также, если я увижу безобразный, свиный или рыбий, глаз, то я просто делаюсь больна. Это все равно, что дурной запах.

– Кстати о глазах, – сказал капитан Донниторн. – Это напоминает мне, что я приобрел книгу, которую намеревался принести вам, крестная! Я получил ее в пачке, присланной на днях из Лондона. Я знаю, что вы любите чудные волшебные истории. Это том поэм «Лирические баллады». Большая часть из них, кажется, пустая болтовня, но первая не принадлежит к этому разряду, она называется «Древний мореходец». Я не могу понять ни начала, ни конца этой истории, но она чрезвычайно странная и поражающая вещь. Я пришлю вам ее. Кроме того, у меня есть еще несколько других книг, с которыми будет приятно познакомиться и вам, Ирвайн, памфлеты на антиномианизм и евангелизм, как они там называются. Я, право, не знаю, на каком основании этот человек посылает ко мне подобные вещи. В письме, которое я послал ему на днях, я выразил ему желание, чтоб отныне он не присылал мне ни одной книги или памфлета на что бы то ни было, оканчивающееся на *изм*.

– Ну, я не скажу, чтоб сам был большой охотник до *измов*, но я очень охотно пробегу памфлеты: из них можно, по крайней мере, узнать, что происходит на белом свете... У меня есть небольшое дело, – продолжал мистер Ирвайн, вставая и приготавливаясь оставить комнату, – а потом я готов отправиться с вами.

Небольшое дело, о котором нужно было позаботиться мистеру Ирвайну, заставило его подняться по старой каменной лестнице (часть дома была очень стара), остановиться перед дверью и осторожно постучаться. «Войдите», – произнес женский голос, и мистер Ирвайн вошел в комнату, в которой было так темно от оконных ширм и опущенных занавесок, что мисс Кет, худенькая леди средних лет, стоявшая у изголовья постели, не имела бы достаточно света для другой какой-нибудь заботы, кроме вязанья, лежавшего на столе неподалеку от нее. Но в настоящую минуту она занималась тем, что требовало самого незначительного света: смачивала губкой больную голову, покоившуюся на подушке, свежим уксусом. Бедная страдалица имела маленькое лицо; оно, может быть, некогда было миловидное, но теперь исхудало и имело желтоватый цвет. Мисс Кет подошла к брату и шепнула ему: «Не говорите с ней: сегодня она не в состоянии перенести разговор». Глаза Анны были закрыты, лоб сморщен, как бы от сильной боли. Мистер Ирвайн подошел к постели, поднял грациозную ручку и прижал ее к своим губам; слабое пожатие маленьких пальчиков давало ему понять, что его подвиг был оценен вполне. Он постоял с минуту, не сводя глаз с больной, потом повернулся и вышел из комнаты, переступая весьма осторожно: он еще внизу снял сапоги и надел туфли. Кто помнит, сколько раз отказывался мистер Ирвайн сделать что-нибудь для самого себя только для того, чтоб не надевать или не снимать своих сапог, тот не сочтет этой подробности незначительной.

А сестры мистера Ирвайна, как могли засвидетельствовать все семейные люди, жившие на расстоянии десяти миль в округности Брокстона, были такие глупые, неинтересные женщины! Не было ли действительно жаль, что умная мистрис Ирвайн имела таких обыкновенных дочерей? Чтоб увидеть эту великолепную старую леди, стоило приехать из-за десяти миль: ее красота, ее хорошо сохранившиеся умственные способности, ее старомодное достоинство давали ей возможность быть весьма приятным предметом беседы наряду с разговором о здоровье короля, прелестных новых образцах платьев из бумажной материи, о новых событиях в Египте, о процессе лорда Деси, который бедной леди Деси надоел до смерти. Но никому не приходило на ум упоминать о двух мисс Ирвайн, за исключением бедных людей в деревне Брокстон, которые считали их весьма сведущими в медицинской науке и неопределенно называли

их господами. Если б кто-нибудь спросил старика Джоба Деймило, кто подарил ему байковую куртку, он непременно ответил бы: «Господа, прошлую зимою»; и вдова Стин с увлечением расхваливала отличные качества «вещи», которую «господа» дали ей против кашля. Также под этим именем о них упоминали с большим эффектом для того, чтоб укрощать непослушных детей: при виде желто-бледного лица бедной мисс Анны некоторыми из маленьких мальчишек овладевал ужас, так как они предполагали, что ей известны все их самые дурные проступки и что она знает точное число камней, которыми они намеревались угостить уток фермера Бриттена. Но для всех видевших обеих мисс Ирвайн сквозь менее мифический медиум они были совершенно излишними существами, не артистическими фигурами, обременявшими канву жизни без достаточного эффекта. Мисс Анна могла бы возбудить романтический интерес, если б ее хроническая головная боль могла быть объяснена какой-нибудь патетической историей обманутой любви, но никакой подобной истории, которая бы касалась ее, не было известно или изобретено, и общее впечатление вполне согласовалось с фактом, что обе сестры оставались старыми девами по той прозаической причине, что никогда не получали выгодного предложения.

Несмотря на то, говоря парадоксально, существование ничтожных людей имеет весьма важные последствия в мире. Оно, как можно доказать, служит к тому, чтоб иметь влияние на цену хлеба и на величину вознаграждения за труд, чтоб вызвать дурные поступки в эгоистах и героические в людях с чувством, имеет и в других отношениях не незначительную роль в жизненной трагедии. И если б этот прекрасный, великодушный пастор, почтенный Адольфус Ирвайн, не имел этих двух сестер, лишенных всякой надежды выйти когда-либо замуж, жизнь его сложилась бы иначе: он, очень вероятно, взял бы в своей молодости пригожую жену, и теперь, когда его волосы уж начинали седеть под пудрою, имел бы статных сыновей и цветущих здоровьем и красотой дочерей – короче сказать, обладал бы тем, что, как обыкновенно думают люди, вознаграждает их за все труды, понесенные ими под солнцем, но при настоящих обстоятельствах, мистер Ирвайн, получая со всех трех духовных мест не более семисот фунтов стерлингов ежегодного дохода и не видя никакой возможности содержать величественную мать и больную сестру, не считая второй сестры, о которой говорили обыкновенно без всякого прилагательного, как леди, как приличествовало их происхождению и привычкам, и в то же время заботиться о своем собственном семействе, оставался, как вы видите, сорока восемью лет от роду холостяком. И он не ставил себе в заслугу этого самоотвержения, но, смеясь, говорил, если кто-нибудь намекал ему об этом, что это служило ему предлогом делать многие вольности, которых никогда не дозволила бы ему жена. Может быть также, он был единственным на свете лицом, не думавшим, что его сестры были неинтересны и совершенно излишни, ибо он был одною из тех благодушных, любящих натур, которые никогда не знают узкой или завистливой мысли. Он был, если хотите, эпикуреец, не знавший ни энтузиазма, ни себя карающего чувства долга, а между тем, как вы видели, обладал достаточно тонкою моральною фиброю, которая позволяла ему чувствовать освежающую нежность к темному и однообразному страданию. Это же самое благодушное снисхождение заставляло его как бы не знать жестокости матери к дочерям, жестокости, поражавшей еще более потому, что она так резко противоречила с почти безумною нежностью матери к нему, ибо он не считал добродетелью хмуриться на недостатки, которые исправить он не был в состоянии.

Посмотрите, какая разница существует между впечатлением, которое производит человек на вас, когда вы идете с ним рядом, занятые обыкновенным разговором, или когда вы видите его в его же доме, между фигурою, которую он представляет, когда смотреть на него с возвышенного исторического уровня, или даже когда смотреть на него глазами критикующего ближнего, думающего о нем не как о человеке, а скорее как об олицетворенной системе или мнении. Мистер Ро, странствующий проповедник, посланный в Треддльстон, включил мистера Ирвайна в свой общий отчет о духовных лицах в области. Этих лиц он описывал людьми, кото-

рые предаются плотским страстям и жизненной суете, охоте и стрельбе, украшают свои собственные дома, спрашивают: «Что мы будем есть и что будем пить и во что будем одеваться?», которые вовсе не заботятся о раздаче хлеба жизни своей пастве, проповедуют лишь о светской нравственности, приводящей в оцепенение душу, и торгуют душами людей, получая деньги за исполнение пастырской службы, в приходах, где все их занятие состоит только в том, что они один раз в год заглядывают туда. Также и духовный историк, рассматривая парламентские отчеты того периода, находит, что достопочтенные члены весьма ревнуют о церкви, не заражены ни малейшею симпатией к колену лицемерящих методистов и строят разряды едва ли менее меланхолического свойства, нежели разряды мистера Ро. И мне невозможно сказать, что мистер Ирвайн был совсем оклеветан родовой классификацией, к которой он был отнесен – он в действительности не имел ни весьма возвышенных целей, ни богословского энтузиазма. Если б меня стали слишком настойчиво спрашивать, то я был бы обязан признаться, что он не чувствовал серьезного беспокойства о душах своих прихожан и считал бы только потерю времени поучительным и убеждающим образом разговаривать со старым дедушкой Тафтом или даже с Чадом Кренеджем, кузнецом; если б он имел обыкновение говорить теоретично, он, может быть, сказал бы, что единственная здоровая форма, которой религия могла бы проявляться в этих душах, состояла бы в некоторых темных, но сильных волнениях, которые освященным влиянием разлились бы на чувства привязанности к семейству и на обязанности к ближним. Он считал крещение более важным, нежели самое учение о нем; он думал, что религиозная польза, приобретаемая поселянином от церкви, в которой молились его отцы, и священный участок земли, где они погребены, только слабо зависели от ясного понимания литургии или проповеди. Ясно, что приходский священник не был тем, что в настоящее время называется серьезным человеком: он более любил церковную историю, нежели богословие, и более вникал в характеры людей, нежели интересовался их мнениями; он не был трудолюбив, не был явно самоотвержен, не был весьма щедр в подавании милостыни, и его феология, как вы заметили, была слаба. Его мысленный вкус действительно несколько отзывался язычеством и находил больше прелести в отрывках из Софокла или Теокрита, нежели в текстах из Исаии или Амоса. Но если вы кормите вашу молодую легавую собачку сырою говядиной, можете ли вы удивляться, если ей впоследствии будет приходиться по вкусу нежареная куропатка? Все воспоминания мистера Ирвайна об энтузиазме и желаниях юности смешивались с поэзией и этикою, лежавшими далеко от Священного Писания.

С другой стороны, я должен сказать в пользу приходского священника, ибо я имею самое искреннее пристрастие к его памяти, что он не был мстителен, а некоторые филантропы были мстительны; что он терпел иноверцев, а ведь молва говорит, что некоторые ревнивые богословы не были свободны от этого порока; что хотя он, вероятно, не согласился бы на то, чтоб его тело сожгли на костре ради какой-нибудь общественной цели, и был далек от того, чтоб раздать все свое имущество бедным, он, однако ж, имел эту любовь к ближнему, которой иногда недоставало какой-нибудь знаменитой добродетели – он был снисходителен к недостаткам других и неохотно приписывал людям зло. Он был один из тех людей – и нельзя сказать, чтоб они были самые обыкновенные, – которых мы можем узнать лучше всего, если последуем за ними с рынка, с помоста и с кафедры, войдем с ними в их собственную семью, услышим их голос, которым они говорят молодым и пожилым у их собственного очага, и будем свидетелями рассудительной заботы о ежедневных нуждах ежедневных товарищей, принимающих все их расположение за дело обыкновенное, а не за предмет похвального слова.

Такие люди, к счастью, жили в те времена, когда процветали великие злоупотребления, и иногда бывали живыми представителями злоупотреблений. Мысль эта может несколько утешить нас при противоположном факте, что лучше иногда не следовать за большими реформаторами злоупотреблений за порог их домов.

Но что б вы ни думали теперь о мистере Ирвайне, если вы встретили его в том июне после обеда, когда он ехал на своей серой лошади с собаками, бежавшими около него, осанисто, прямо, мужественно, и на его изящно очерченных губах показывалась добродушная улыбка в то время, как он разговаривал со своим пылким молодым товарищем на гнедой кобыле, то вы должны были чувствовать, что, как бы дурно он ни гармонировал с сильными теориями духовного служения, он все-таки очень хорошо гармонировал с этим мирным ландшафтом.

Посмотрите на них при явном солнечном свете, прерываемом по временам набегающими массами облаков, посмотрите, как они поднимаются на холм со стороны Брокстона, где высокие крыши и вязы священнического дома господствуют над крошечною выбеленною церковью. Они скоро приедут в геслопский приход; серая колокольня и деревенские крыши лежат перед ними с левой стороны, а далее, с правой стороны, они могут видеть трубы господской мызы.

VI. Господская мыза

Очевидно, эти ворота не открываются никогда, ибо у самых ворот растет длинная трава и высокая цикута; и если б их отворили, то они так заржавели, что сила, которая потребовалась бы для того, чтоб повернуть их на их петлях, весьма вероятно, сломала бы квадратные каменные столбы, к немалому вреду двух каменных львиц, с сомнительною плотоядною вежливостью скалящих зубы над гербовым щитом, помещающимся над каждым из столбов. При помощи зарубок в каменных столбах можно было бы довольно легко перелезть через кирпичную стену с ее гладкою каменною крышею, но если мы близко приложим глаза к ржавой решетке ворот, то мы довольно ясно можем видеть дом и все прочее, кроме самых углов поросшей травною оградой.

Старый дом имеет весьма приятный вид. Он выстроен из красного кирпича, цвет которого смягчается бледным пушистым мхом; этот мох рассыпался с удачною небрежностью, так что приводит красный кирпич в отношения дружеского товарищества с известняковыми орнаментами, окружающими три фронтона, окна и дверь. Но окна заплатаны деревянными вставками вместо стекол, а дверь, я полагаю, так же, как и ворота, не открывается никогда – как застонала и заскрипела бы она по каменному полу, если б вздумали отворить ее, ибо она массивная, тяжелая, красивая дверь и, вероятно, некогда имела обыкновение с резким шумом запирается позади ливрейного лакея, который только что проводил своего господина и свою госпожу, уехавших со двора в карете, запряженной парюю.

Но теперь можно было бы вообразить себе, что дом находится на первой степени канцелярского процесса и что плод с этого большого двойного ряда ореховых деревьев на правой стороне ограды падает и гниет в траве, если б мы не слышали шумного лая собак, отдающегося от больших строений назад. А вот и только что переставшие сосать молоко телята, скрывавшиеся в выстроенной из терна лачужке у стены с левой стороны, выходят из своего убежища и начинают глупо отвечать на этот страшный лай, без сомнения предполагая, что лай имеет какое-нибудь отношение к ведрам с молоком, которые им обыкновенно приносят.

Да, дом должен быть обитаем, и мы посмотрим кем, ибо воображение – привилегированный нарушитель чужих пределов: оно не знает страха к собакам и безнаказанно может перелезть через стены и украдкой заглядывать в окна. Приложите лицо к одной из стеклянных вставок окна с правой стороны; что же вы там видите? Большой открытый камин с ржавыми таганями и некрашенный деревянный пол; на отдаленном конце – большие хлопья шерсти, сложенные в кучи; на середине пола несколько пустых хлебных мешков. Это мебель столовой. А что вы видите в окно с левой стороны? Несколько платяных вешалок, женское седло, самопрялку и старый, открытый настезь сундук, доверху набитый пестрым тряпьем. На краю сундука лежит большая деревянная кукла, которая, если принять во внимание изувечение, имеет большое сходство с лучшим произведением греческой скульптуры, в особенности же по совершенной потере носа. Неподалеку от ящика – небольшое кресло и ручка от длинного кожаного хлыста, употребляемого обыкновенно мальчиками.

Итак, история дома теперь ясна. Некогда он был местопребыванием деревенского сквайра, фамилия которого, имея, вероятно, своею последнею представительницею женщину, исчезла в более территориальном имени Доннигорн. Он назывался некогда Hall¹⁰; теперь он называется господскою мызою. Подобно тому как переменяется жизнь в каком-нибудь приморском городе, который был некогда модным местом для купанья, а теперь стал портом, где красивые улицы безмолвны и поросли травною, а доки и кладовые шумливы и полны жизни,

¹⁰ Halle называется дом того помещика, который исправляет должность мирного судьи; это название остается за домом навсегда.

жизнь в Голле переменяла свой фокус, и в нем радиусы исходят уже не из гостиной, а из кухни и с хуторного двора.

И как все там полно жизни, хотя это самое сонливое время в году, перед уборкой хлеба; это также самое сонливое время дня, ибо теперь скоро три часа по солнцу и половина четвертого по красивым недельным часам мистрис Пойзер. Но природа всегда становится оживленнее, когда после дождя солнце начинает снова сиять; а теперь оно изливает свои лучи, блестит между сырою соломою, освещает каждое местечко ярко-зеленого мха на красных черепицах коровьего хлева и изменяет даже грязную воду, которая торопливо бежит по желобу в водосточную канаву, в зеркало для желтоклювых уток, которые стараются воспользоваться благоприятным случаем и напиться воды погуще. Там совершенный концерт разнородного шума: большой бульдог, посаженный на цепь около конюшен, находится в неистовом раздражении, потому что беспечный петух слишком близко подошел к отверстию его конуры и издает громогласный лай, на который отвечают две гончие собаки, запертые в коровьем хлеву на противоположном конце; старые хохлатые курицы, царапаясь с своими цыплятами по соломе, начинают симпатически клокотать, когда присоединяется к ним смущенный петух; свинья, с поросятами, все запачканные около ног грязью, с закрученными кверху хвостами, участвуют в общем хоре, издавая глубокие отрывистые ноты; наши знакомцы – телята блеют из-за своей изгороди; и между всем этим тонкое ухо различает непрерывный говор человеческих голосов.

Ибо двери большой риги отворены настежь, и люди занимаются там починкой шор под надзором мистера Гоби, шерного мастера, который рассказывает им новейшие треддльстонские сплетни. Алик, пастух, выбрал, конечно, неудачный день: призвал шорников тогда, как утро было дождливое; и мистрис Пойзер довольно строго выразила свое мнение о грязи, которую лишнее число башмаков людей нанесло в дом в обеденное время. Действительно, ее душевное спокойствие не установилось еще вполне, хотя теперь с обеда прошло уже около трех часов и пол опять совершенно чист, и так чист, как чисто все прочее в этом чудном доме, где, для того чтоб собрать несколько пылинок, вы должны, может быть, влезть на сундук с солью и опустить пальцы на высокую полку над камином, на которой блестящие медные подсвечники наслаждаются летним отдыхом, ибо в это время года, конечно, все идут спать, пока еще светло или, по крайней мере, светло настолько, что можно различить контур предметов, когда вы уже ударились о них ногами, уж конечно, дубовый часовой футляр и дубовый стол нигде не могли получить такого лоска от руки, настоящий «локтяной лоск», как говорила мистрис Пойзер, ибо она благодарила Бога, что в своем доме никогда не имела никакой лакированной дряни. Хетти Соррель, пользуясь случаем, когда тетка оборачивалась к ней спиною, смотрела на приятное отражение своей фигуры в этих отполированных поверхностях, ибо дубовый стол был обыкновенно поднят, как ширмы, и служил более для украшения, нежели для пользы; она иногда, могла видеть себя также в больших круглых оловянных блюдах, которые стройно стояли на полках над большим сосновым обеденным столом, или в ступицах каминной решетки, блестящей всегда, как яшма.

Все было в своем полнейшем блеске в эту минуту, ибо солнце светило прямо на оловянные блюда, и от их отражающих поверхностей веселые брызги света падали на светлый дуб и блестящую медь и на предметы, еще приятнее этих. Некоторые лучи падали на прелестно очерченные щеки Дины и изменяли бледно-красный цвет ее волос в каштановый, когда она наклонялась над тяжелым домашним бельем, которое чинила для своей тетки. Никакая сцена не могла бы быть такая мирная, если б мистрис Пойзер, гладившая несколько вещей, оставшихся еще от понедельничной стирки, не стучала часто своим утюгом, не ходила взад и вперед, когда ей нужно было остудить его, и своими серо-голубыми глазами быстро не поглядывала с кухни на сырню, где Хетти сбивала масло, и с сырни на кухню, где Нанси вынимала пироги из печки. Не предполагайте, однако ж, что мистрис Пойзер казалась на вид пожилою: она имела приятную наружность, не более тридцати восьми лет, красивый цвет лица, песочного

цвета волосы, хорошие формы и легкую походку. Самым заметным предметом в ее одежде был обширный пестрый полотняный передник, всегда покрывавший ее платье. Но чепец и платье были самые обыкновенные и не отличались ничем, ибо ни к какой другой слабости не была она так жестока, как к женскому тщеславию и к предпочтению украшения пользе. Семейное сходство между ею и ее племянницей, Диною Моррис, и контраст между ее пронизательностью и серафимскою кротостью выражения в Дине могли бы прекрасно вдохновить живописца для изображения Марфы и Марии. Их глаза были одного цвета, но поражающий признак разницы в их действии был виден в поведении Трина, черно-желтой таксы, каждый раз, когда эта во многом подозреваемая собака неожиданно подвергалась ледящему арктическому лучу взгляда мистрис Пойзер. Ее язык был так же резок, как и глаз, и каждый раз, как какая-нибудь из девушек подходила на расстояние, откуда ей можно было слышать хозяйку, то казалось девушке, что мистрис Пойзер продолжала неоконченный упрек, подобно тому как шарманка всегда начинает играть песню именно с того места, на каком она остановилась.

Факт, что день этот был назначен для сбивания масла, был другою причиною, по которой было неудобно иметь шорников и почему, следовательно, мистрис Пойзер бранила Молли, горничную, с необыкновенною строгостью. Как видно было по всему, Молли исполнила свое послеобеденное дело примерным образом, приделась с большою поспешностью и теперь покорно пришла спросить, должна ли она сесть за свою прялку до того времени, когда надобно будет доить коров. Но это безукоризненное поведение, по мнению мистрис Пойзер, прикрывало тайные непристойные желания, которые она вывела наружу из Молли и представила ей с едким красноречием.

– Прясть, право! Тебе не прясть хочется, я уверена, а тебе хочется погулять. Я не знаю ни одной девушки, которая была бы хитрее тебя. Если подумать, что девушка твоих лет все вот хочет идти и сидеть с толпою мужчин!.. Мне было бы совестно говорить, если б я была на твоём месте. Ты находишься у меня с последнего Михайлова дня, и я наняла тебя по треддльстонским статутам без всякого свидетельства, я тебе говорю, ты должна быть благодарна, что тебя наняли таким образом в почтенное место; когда ты пришла сюда, то знала о деле столько же, сколько полевая работница. Ты знаешь, что я никогда не видала такого бедного двурукого существа, как ты? Я хотела бы знать, кто выучил тебя мыть пол. Ведь ты оставляла сор кучами в углах, так что всякий мог бы подумать, что ты не выросла между христианами. А что касается твоего прядения, то ты испортила льна столько, сколько стоит все твое жалованье, когда ты училась прясть. И ты должна чувствовать это, а не ротозейничать и ходить, ни о чем не думая, как будто ты не обязана никому... Чесать шерсть для шорников, право! Вот что хотелось бы тебе делать, не правда ли? Так вы понимаете дело, все вы хотели бы идти по этому пути, стремясь к своей гибели. Вы до тех пор не бываете спокойны, пока не получите любовника, который так же глуп, как вы; вы думаете, что далеко ушли, когда вышли замуж и достали стул о трех ножках, на котором можете сидеть, а одеяла-то у вас нет, которым вы могли бы покрыться, изредка только найдется у вас кусок овсяного пирога к обеду, из-за которого подерутся трое детей.

– Мне, право, незачем идти к шорникам, – сказала Молли плаксивым голосом, совершенно пораженная дантовским изображением ее будущности. – Мы только всегда чесали шерсть для них у мистера Оттлея, оттого я вас и спросила. Я вовсе не хочу еще раз посмотреть на шорников. Пусть я не сдвинусь с места, если сделаю это.

– У мистера Оттлея, право! Хорошо вам толковать, что вы делали у мистера Оттлея! Может быть, ваша хозяйка там любила – не знаю, по каким причинам, – чтоб шорники пачкали грязью ее полы. Ведь нельзя знать, что могут любить люди, когда они привыкнут к тому... Уж я слышала таких вещей. Ко мне в дом не приходило ни одной девушки, которая знала бы, что значит чистота. Я, с своей стороны, думаю, что люди живут как свиньи. Что же касается этой Бетти, которая перед тем, как пришла ко мне, была коровницей у Трента, она не поворачивала сыров с конца недели до конца другой недели, а столы в сырне были так покрыты пылью, что

я могла бы пальцем написать на них свое имя, когда я сошла вниз после моей болезни... по словам доктора, у меня было воспаление... и это была милость Божия, что я выздоровела. И если подумаешь, что ты не научилась лучшему, Молли, тогда как ты находишься здесь девять месяцев и тебя беспрестанно учат... Что ж ты стоишь тут, словно сбежавший вертел? Что ж ты не вынесешь своей прялки? Ты очень редкая работница: садишься за работу тогда, когда уже пора оставить ее.

– Мама, мой утюг совсем простыл. Поставь его, пожалуйста, нагреться.

Небольшой чирикающий голосок, произнесший эту просьбу, принадлежал маленькой девчушке с лучезарными волосами, лет трех или четырех, которая, сидя на высоком стуле на конце гладильного стола, ревностно сжимала ручку миниатюрного утюга своею крошечною пухленькою ручкою и гладила тряпки с таким прилежанием, что ей надобно было высовывать свой красный язычок, насколько лишь позволяла анатомия.

– Простыл, моя милочка? Господь с тобою! – сказала мистрис Пойзер, которая с замечательною легкостью могла переходить из своего официального укорительного тона в любезный или дружеский. – Ничего, душечка! Маменька кончила теперь свое глаженье. Она уже намерена убрать все вещи.

– Мама, мне хочется сходить в ригу к Томми и посмотреть на шорников.

– Нет, нет, нет! Тотти может промочить свои ножки, – сказала мистрис Пойзер, убирая утюг. – Сбегай в сырню и посмотри, как кухня Хетти сбивает масло.

– Мне хотелось бы кусочек сладкого пирожка, – возразила Тотти, которая, по-видимому, имела большой запас различных перемен просьб.

В то же время, пользуясь своею минутною свободой, она опустила свои пальцы в чашку с крахмалом и опрокинула ее, так что вылила почти все, что было в чашке, на гладильную крышку.

– Ну, скажите, кто же на свете делает такие вещи? – воскликнула мистрис Пойзер, подбегая к столу в ту самую минуту, когда ее взор упал на синюю струю. – Ребенок всегда делает бед, если вы повернетесь спиною к нему только на одну минуту. Что мне с тобой делать, баловница ты этакая?

Тотти, однако ж, спустилась со стула с большою поспешностью и уже отступала в сырню, несколько переваливаясь с боку на бок; жир, образовавшийся на ее шее сзади складки, придавал ей вид белого поросенка, подвергнувшегося метаморфозе.

Когда крахмал был подобран с помощью Молли и принадлежности глаженья унесены, то мистрис Пойзер взяла в руки свое вязанье, которое всегда находилось у нее под рукой и было любимую ее работою, ибо она могла заниматься этою работою машинально, когда ходила то за тем, то за другим. Но теперь она подошла и села против Дины; занимаясь вязаньем серых шерстяных чулок, она по временам задумчиво посматривала на племянницу.

– Ты очень похожа на твою тетку Юдифь, Дина, когда сидишь и шьешь. Я довольно живо могу себе представить, хотя с тех пор прошло уже тридцать лет, когда я была дома маленькою девчонкой и смотрела на Юдифь, как она сидела за работой, приведя все в доме в порядок. Только это была небольшая изба, изба отцовская, а не большой разбегающийся дом, который грязнится в одном углу в то время, когда ты чистишь в другом углу. Но, несмотря на то, когда я гляжу на тебя, я представляю себе твою тетку Юдифь; только ее волосы были гораздо темнее, да и сама она была плотнее и шире в плечах. Юдифь и я всегда были привязаны друг к другу, хотя она имела очень странные привычки, но твоя мать и она никогда не сходились друг с другом. Ах, твоя мать уж вовсе не думала, что у нее будет дочь, ни дать ни взять Юдифь, и также что она оставит ее сиротой и на попечении Юдифи, которая и вырастила ее в то время, когда она уже была на кладбище в Стонитоне. Я всегда говорила о Юдифи, что она сама готова нести фунт только для того, чтоб избавить другого от тяжести в одну унцию. И она всегда оставалась такою с тех самых пор, как я знала ее. В ней, сколько я могла видеть, не произошло никакой перемены,

когда она перешла к методистам, только она стала говорить несколько иначе и носила чепчик другого фасона. Но она никогда в жизни не хотела истратить пенса на себя для того, чтоб сделать какой-нибудь лишний наряд.

– Она была добродетельная женщина, – сказала Дина. – Бог одарил ее любящим, самоотверженным характером и своею милостью усовершенствовал ее прекрасные качества. И она, с своей стороны, также очень любила вас, тетушка Рахиль! Я часто слышала, как она отзывалась о вас, и всегда в этом смысле. Когда она захворала своею злою болезнью, а мне было только одиннадцать лет, то она, бывало, говорила: «Ты будешь иметь друга на земле в твоей тетке Рахили, если я буду взята от тебя, ибо она имеет любящее сердце». И я убедилась, что слова ее были справедливы.

– Не знаю, дитя мое, в чем ты видела это. Я думаю, всякий умел бы сделать что-нибудь для тебя. Ты похожа на птиц в воздухе и живешь, никто не знает как. Я была бы очень рада поступать с тобою так, как должна поступать сестра матери, если б ты захотела прийти и жить в нашей стране, где и люди, и скот находят себе убежище и пропитание и где люди не живут на голых холмах, как куры, царапающиеся по песчаному берегу. А потом ты могла б выйти замуж за порядочного человека, и нашлось бы много, которые захотели бы жениться на тебе, если б только ты бросила это проповедование, ибо это в десять раз хуже всего, что делала твоя тетка Юдифь. И если б ты даже вышла за Сета Бида, хотя он и бедный, рассеянный методист и вряд ли будет когда-нибудь иметь лишней пенни, то я знаю, что твой дядя помог бы тебе, дал бы свинью и, очень вероятно, корову, ибо он всегда был добр и расположен к моим родным, несмотря на то что все они бедны, и радушно принимал их в своем доме. Я уверена, он сделал бы для тебя столько же, сколько он сделал для Хетти, хотя она и его родная племянница. У нас в доме есть полотно, которое я очень хорошо могла бы уступить тебе, ибо у меня много простынного холста, столового белья, полотенец, и все это лежит так. Я могла бы дать тебе кусок простынного холста, сотканного этою косою Китти... о! она была редкая девушка, что касается тканья, несмотря на то что она косила и что дети не могли ее терпеть... а ты знаешь, что у нас ткут непрерывно, и новое полотно поспевает гораздо скорее, нежели успевают изнашиваться старые... Но к чему тут толковать, если ты не хочешь убедиться и завестись домом, как все другие умные женщины, вместо того чтоб изнурять себя, путешествовать и проповедовать и отдавать всякую копейку, которую ты только получишь, так что не сберегаешь ничего на случай своей болезни, и все, что ты только приобрела в мире, войдет, по моему мнению, в узел, который не больше двойного сыра. И все это потому, что ты знаешь о религии больше того, что находится в катехизисе и молитвеннике.

– Но не больше того, что находится в Священном Писании, тетушка! – сказала Дина.

– Да, и в Священном Писании, конечно, – возразила мистрис Пойзер довольно резко. – Иначе, как могли бы делать то же самое, что ты делаешь, те, которые лучше всего знают, что такое Священное Писание: священники и лица, которым только и дела, что учить Писание? Но наконец, если б все поступали, как ты, свет должен был бы прийти в застою, ибо если б все старались не устраивать собственного дома, ограничивались скудною пищею и питьем и всегда говорили, что мы должны презирать предметы этого мира, как ты говоришь, то я желала бы знать: куда можно было бы девать лучший скот, и хлеб, и лучшие свежие молочные сыры? Все были бы принуждены есть хлеб, сделанный из остатков, и все бегали бы друг за другом, чтоб проповедовать друг другу, вместо того чтоб воспитывать свои семейства и принимать меры против дурного урожая. Очевидно, это не может быть настоящая религия.

– Нет, дорогая тетушка, вы никогда не слыхали от меня таких слов, будто все призваны к тому, чтоб оставлять свое дело и семейства. Совершенно справедливо то, что должно пахать и засеивать землю, сохранять драгоценный хлеб и заботиться о мирских делах, и справедливо то, что люди должны наслаждаться в своих семействах и заботиться о них, и делать это в страхе Божиим, и что они не должны не радеть о потребностях души в то время, как заботятся о

теле. Все мы можем быть служителями Бога, как бы ни выпала наша участь, но он дает нам различные дела, согласно с тем, к какому делу он сделает нас способными и призовет нас. Я нисколько не виновата, стараясь сделать то, что могу, душам других, как вы не виноваты в том, что побежите, услышав крик крошки Тотти на другом конце дома. Голос дойдет до вашего сердца, вы подумаете, что дорогой вам ребенок находится в беспокойстве или в опасности, и вы не успокоитесь до тех пор, пока не побежите, чтоб помочь ему или утешить его.

– Ах! – сказала мистрис Пойзер, вставая и идя к двери. – Я знаю, что могу разговаривать об этом с тобою целый день, и это не приведет ни к чему. В конце нашего разговора ты дашь мне тот же ответ. Все равно если б я стала разговаривать с текущим ручьем и сказала бы ему, чтоб он остановился.

Дорожка перед дверью, которая вела в кухню, уже довольно просохла, так что мистрис Пойзер стояла на ней довольно весело и смотрела на то, что происходило на дворе, между тем как серые шерстяные чулки делали большие успехи в ее руках.

Но она не простояла там более пяти минут, как уже опять вошла в комнату и, обращаясь к Дине, несколько взволнованным, робким голосом сказала:

– Ведь это капитан Донниторн и мистер Ирвайн въезжают во двор! Я вот готова поклясться жизнью, что они приехали для того, чтоб поговорить о твоём проповедовании на лугу, Дина. Ты должна отвечать им сама, ибо я не буду говорить ни слова. Я в свое время говорила довольно о том, что ты причиняешь такую немилость семейству твоего дяди. Я не стала бы и упоминать об этом, если б ты была родная племянница мистера Пойзера – люди должны переносить неприятности от своих собственных родных, как они переносят неприятности от своего собственного носа, ведь это их плоть и кровь. Но думать, что моя племянница виновата в том, что моего мужа выгнали с фермы и что я не принесла ему никакого приданого, кроме того, что сберегла ему...

– Нет, дорогая тетка Рахиль, – кротко сказала Дина. – Вам нет никакой причины опасаться. Я вполне уверена, что никакого зла не случится ни вам, ни моему дяде, ни детям от всего того, что я сделала. Я не проповедую без указания.

– Указания! Я очень хорошо знаю, что, по-твоему, значит указание, – сказала мистрис Пойзер, принимаясь вязать быстро и в волнении. – Если в твою голову забралось больше пустяков, нежели обыкновенно, то ты называешь это указанием, и тогда уже ничто не может тронуть тебя: ты походишь тогда на статую, которая помещается на фасаде треддльстонской церкви, тарашит глаза и улыбается всегда, хороша ли погода или дурна. Мне просто нет никакого терпенья с тобой!

Между тем оба джентльмена уже подъехали к палисаднику и сошли с лошадей – ясно было, что они хотели войти. Мистрис Пойзер подошла к двери, чтоб встретить их, низко приседая и дрожа с досады на Дину и от заботы о том, как бы ей вести себя приличнее в этом случае. В те времена самый смелый из буколических людей чувствовал невольный страх при виде господ, подобно тому, что чувствовали старые люди, когда стояли на цыпочках и смотрели на богов, проходивших мимо в человеческом виде.

– А, мистрис Пойзер! Как вы себя чувствуете после сегодняшней утренней грозы? – сказал мистер Ирвайн со своим обыкновенным величественным добродушием. – Не бойтесь, наши ноги совершенно сухи, мы не запачкаем вашего красивого пола.

– О, сэр, не говорите этого, – сказала мистрис Пойзер. – Не угодно ли вам и капитану войти в гостиную?

– Нет, нет, благодарю вас, мистрис Пойзер, – сказал капитан, испытующим взором осматривая кухню, как будто его глаза искали чего-то и не могли найти. – Я не нарадуюсь на вашу кухню. Я думаю, очаровательнее этой комнаты я не знаю. Я желал бы, чтоб жены всех фермеров пришли сюда и взяли ее за образец.

– О! Вы говорите это только так, сэр. Прошу вас, садитесь, – сказала мистрис Пойзер, несколько ободренная этим комплиментом и явным хорошим расположением, но все еще заботливо посматривавшая на мистера Ирвайна, который, как она видела, смотрел на Дину и подходил к ней.

– Пойзера дома нет, не правда ли? – спросил капитан Донниторн, садясь там, откуда мог видеть короткий проход к открытой двери в сырню.

– Нет, сэр, его нет дома: он отправился в Россетер, чтоб повидаться с мистером Вестом, приказчиком, и поговорить с ним насчет шерсти. Но, сэр, отец дома, в риге, если он может быть полезен вам к чему-нибудь...

– Нет, благодарю вас. Я вот пойду посмотрю на щенят и отдам вашему пастуху приказание насчет их. Я должен заехать к вам в другой день, чтоб увидеть вашего мужа: мне надобно посоветоваться с ним насчет лошадей. Не знаете ли вы, может быть, когда он, по всему вероятию, будет свободен?

– О, сэр! Вы почти не можете не застать его дома, кроме того дня, когда бывает рынок в Треддльстоне... это по пятницам, вы знаете. Ибо если он находится где-нибудь на ферме, то мы можем послать за ним, он придет в одну минуту. Если б мы могли освободиться от этих Скантленд, то муж не имел бы причины удаляться на большое расстояние, и я была бы рада этому, ибо когда его нет, то я могу всегда предполагать, что он отправился в Скантленд... Но на свете все случается как будто назло, если возможно, и, право, это очень неестественно, что вы имеете одну часть фермы в одном графстве, а все остальное в другом.

– Да, Скантленд лучше пошли бы к ферме Чойса, в особенности потому, что ему нужна паственная земля, а у вас ее очень много. Мне кажется, однако ж, что в нашем имении ваша ферма самая лучшая, и... знаете что, мистрис Пойзер? Если б я думал жениться и завестись хозяйством, то я, пожалуй, искусился бы этим местом, выпроводил вас отсюда, отдал бы этот прекрасный старый дом и сделался бы сам фермером.

– О, сэр, – сказала мистрис Пойзер, с некоторым испугом, – оно вам не понравилось бы вовсе. Что ж касается фермерства, то это значит класть деньги в карман правою рукою и вынимать левою. На всем расстоянии, которое только я могу обозревать, всходят съестные припасы для других людей, а вам и вашим детям придется одна только горсточка. Конечно, я знаю, что вы небедный человек, который должен заботиться о насущном хлебе, вы можете иметь право бросать на аренду столько денег, сколько вам угодно, но это жалкая шутка – терять деньги, как мне кажется, хотя я и знаю, что большие господа в Лондоне теряют большие деньги. Ибо муж мой слышал на рынке, что старший сын лорда Деси проигрывал целые тысячи принцу Вельскому; там говорили также, что миледи должна была заложить свои брильянты, чтоб заплатить за него. Но вы знаете об этом больше меня, сэр! Что ж касается фермерства, сэр, я не могу думать, чтоб вам понравилось быть фермером; этот дом – тут сквозной ветер – просто выживет вас отсюда, также полы наверху, по моему мнению, совершенно гнилы, а что крыс в погребе – тут уж и говорить нечего!

– Да ведь это страшная картина, мистрис Пойзер! Кажется, я окажу вам немалую услугу, если выпровожу вас отсюда. Но это вряд ли удастся мне. Я намерен устроиться хозяйственным образом, по крайней мере не ранее, как лет через двадцать, когда я буду здоровым сорокалетним джентльменом, притом же и мой дедушка никогда не согласится расстаться с такими хорошими арендаторами, как вы.

– Ну, сэр, если он такого хорошего мнения о мистере Пойзере как об арендаторе, то я прошу вас вернуть ему слово за нас о том, чтоб он поставил нам новые ворота у Пяти Изгородей, ибо мой муж просил и просил об этом до того, что просто измучился... и если только подумать, что он сделал для фермы и что ему никогда не пожаловали ни одного пенса – ни в дурные, ни в хорошие времена. И я уж как вот часто говаривала моему мужу, что если б капитан распорядился этим, то это не было бы так. Не то чтобы я неуважительно хотела

говорить о тех, которые имеют в своих руках власть; но иногда столько бывает трудов и забот, что плоть и кровь не в состоянии перенести этого с самого раннего утра и до позднего вечера, едва можешь заснуть на минуту, когда ляжешь спать, ибо все думаешь, как вот поднимается сыр, или как бы вот корова не выпустила своего теленка, или как бы вот пшеница опять не стала бы зеленою в снопе, и после всего этого в конце года, похоже, как будто вы приготавливали пир и за ваши труды наслаждались только запахом его.

Мистрис Пойзер, однажды начавшая говорить, шла на всех парусах без малейшего признака боязни, которую она вначале чувствовала к господам. Уверенность в своем красноречии была побудительною силою, побеждавшею всякое сопротивление.

– Я боюсь, что скорее наделаю вреда, вместо того чтоб принести пользу, если буду говорить о воротах, мистрис Пойзер, – сказал капитан. – Хотя я могу уверить вас, что во всем имении нет человека, за которого я сказал бы доброе слово, кроме вашего мужа. Я знаю, его ферма содержится в лучшем порядке, нежели какая-нибудь другая на расстоянии десяти миль здесь в округности; что же касается кухни, – присовокупил он, улыбаясь, – я не думаю, что найдется другая во всем государстве, которая могла бы убить ее. Кстати, я никогда не видал вашей сырни, я непременно хочу ее видеть, мистрис Пойзер!

– Право, сэръ, она не стоит того, чтоб вы вошли в нее, ибо Хетти стоит прямо на середине и делает масло; случилось так, что масло стали сбивать позже обыкновенного... мне просто стыдно.

Эти слова мистрис Пойзер произнесла, краснея. Она поверила, что капитан был действительно заинтересован ее молочными кружками и, пожалуй, проверил свое мнение о ней по виду ее сырни.

– О, я не сомневаюсь, что она находится в удивительном порядке. Сведите меня туда, – сказал капитан, сам пролагая себе дорогу, между тем как мистрис Пойзер следовала за ним.

VII. Сырня

Сырню, конечно, стоило посмотреть – она представляла зрелище, которое заставило бы людей, живших в душных и пыльных улицах, захворать от страстного желания находиться в ней: такая прохлада, такая чистота, такое благоухание новопрессованного сыра, твердого масла, деревянных сосудов, беспрестанно омываемых чистой водою; такой мягкий оттенок красной глиняной посуды и сливочных поверхностей, темного дерева и полированной жести, серого известняка и изобильной оранжевой ржавчины на чугунных гириях, крюках и петлях. Но эти подробности замечаются только вскользь, когда они окружают очаровательную девушку семнадцати лет, которая стоит на маленьких деревянных башмачках и, скруглив свою руку с ямочками на локтях, снимает с весов фунт масла.

На лице Хетти выступила глубокая краска, когда капитан Донниторн вошел в сырню и заговорил с нею. Но то вовсе не была краска, наведенная страхом, ибо ее сопровождали улыбки и ямочка около губ и искорки из-под длинных загнутых кверху темных ресниц. И в то время, как ее тетка рассказывала джентльмену, что вот, пока еще не все телята отняты от груди, следует беречь молоко и ограничиваться небольшим количеством его для делания сыра и масла, что короткорогий скот, купленный для пробы, дает хотя и большее количество молока, но низшего достоинства, и о многих других предметах, могущих заинтересовать молодого джентльмена, который современен настолько, чтобы сделаться сельским хозяином, Хетти вскидывала кверху и прихлопывала фунт масла с совершенно самоуверенным, кокетливым видом, в душе своей сознавая, что ни один поворот ее головы не оставался незамеченным.

Есть различные разряды красоты, заставляющие мужчин сходить с ума различным образом, начиная с отчаяния и до глупостей. Но есть разряд красоты, который, кажется, создан для того, чтоб кружить головы не только мужчинам, но и всем разумным млекопитающим животным, даже женщинам. Красота эта походит на красоту котят, или крошечных пушистых уток, которые мило журчат своим нежным клювом, или грудных детей, только что начинающих бродить и делать сознательные проделки, – красота, которая никогда не рассердит, но которую вы готовы уничтожить за то, что она неспособна понять настроение вашей души, причиняемое ею. Красота Хетти Соррель принадлежала к этому разряду. Ее тетка, мистрис Пойзер, которая принимала вид, будто равнодушна ко всякому личному влечению, и старалась быть строжайшим из менторов, беспрестанно смотрела исподтишка на прелестную Хетти, очарованная ею против воли, и, излив на нее такую брань, какая естественно вытекала из ее заботливости сделать добро племяннице своего мужа – не имевшей матери, которая могла бы побранить ее, бедное создание, – она часто говаривала своему мужу, когда знала, что никто не мог услышать ее: «Я должна сознаться в том, что, чем больше шалит эта маленькая плутовка, тем она кажется милее».

Было бы почти бесполезно рассказывать вам, что у Хетти щеки походили на лепестки розы, что ямочки играли около ее хорошенького рта, что ее большие, темные глаза скрывали под длинными ресницами нежное плутовство и что ее вьющиеся волосы, хотя и зачесываемые назад под круглым чепчиком в то время, когда она находилась при работе, выбивались темными, красивыми кольцами на лоб и около ее белых, наподобие раковин, ушей. Было бы почти бесполезно рассказывать, как мило обрисовывалась ее розовая с белым косынка, подогнутая под ее низенький шелковый корсет цвета сливы, или как холстинный передник с нагрудником, надеваемый ею, когда она сбивала масло, казалось, мог бы служить образцом, по которому герцогини должны бы делать для себя шелковые, если б только последние стали падать такими очаровательными складками, или как ее коричневые чулки и застегнутые башмаки на толстых подошвах теряли всю свою неуклюжесть, которую должны были непременно иметь без ее прелестных ножек; было бы почти бесполезно рассказывать обо всем этом, если только вы

не видели женщины, которая произвела на вас такое же впечатление, какое Хетти производила на окружающих, ибо в противном случае, хотя вы и вызовете образ милостивой женщины, он вовсе не будет походить на эту сводившую с ума, милую, как котенок, девушку. Я, пожалуй, мог бы описать всю божественную прелесть ясного весеннего дня, но если вы никогда в жизни не забывались вполне, напрягая свое зрение, чтоб не упустить из виду поднимающегося жаворонка, или прогуливаясь по тихим аллеям, когда только что раскрывшийся цвет растений наполняет их священной, безмолвною красотой, уподобляющей их украшенным резною работою проходам к церкви, то какую пользу принес бы мой описательный перечень? Вы никогда не были бы в состоянии знать, что я разумел под светлым весенним днем. Красоту Хетти можно было сравнить с красотой весеннего времени, то была красота молодых резвых созданий, кругленьких, пугающих, обманывающих вас ложным видом невинности – невинности, например, теленка, со звездой на лбу, который, желая предпринять прогулку вне границ, увлекает вас в строгую скачку с препятствиями чрез плетень и ров и останавливается только среди болота.

А как прелестны позы и движения, которые принимает очаровательная девушка, делая масло, эти беспокойные движения, придающие очаровательные изгибы руке и боковое наклонение круглой белой шее, – особые движения, причиняемые сбивкой и растиранием масла ладонью руки, и потом приспособление и окончательная отделка, которых никак нельзя достигнуть без большой игры полных губ и темных глаз. И потом самое масло, кажется, сообщает особенную свежесть и очарование, так оно чисто, так оно благоуханно; оно выходит из формы с такою прелестною твердою поверхностью, как мрамор, при бледножелтом свете. Притом же Хетти была преимущественно искусна в делании масла. Это дело тетка ее позволяла себе оставлять без строгого порицания; таким образом, она занималась им со всею грацией, которая нераздельна с полным знанием дела.

– Я надеюсь, что вы поспеете к большому празднику тридцатого июля, мистрис Пойзер, – сказал капитан, когда он уже в достаточной степени выразил свое удивление касательно сырни и сделал несколько импровизированных замечаний по поводу турнепа и короткороготого скота. – Вы знаете, что должно случиться тогда, и я ожидаю, что вы приедете раньше всех и уедете позже всех. Позвольте мне попросить вашу руку на два танца, мисс Хетти! Я знаю, что если не получу вашего слова теперь же, то мне едва ли удастся танцевать с вами, ибо все молодые фермеры-щеголи постараются завладеть вами.

Хетти улыбнулась и покраснела; но, прежде чем она могла ответить, в разговор вмешалась мистрис Пойзер, скандализованная при одной только мысли, что молодой сквайр мог быть исключен каким-нибудь кавалером ниже его.

– Право, сэр, вы очень любезны, что так внимательны к ней. И я уверена, что, когда вам только будет угодно танцевать с нею, она будет гордиться этим и будет благодарна вам, если б даже ей пришлось простоять одной весь остальной вечер.

– О, нет, нет! Это значило бы жестоко поступить со всеми другими молодыми людьми, которые могут танцевать. Но вы обещаете мне два танца, не правда ли? – продолжал капитан, решившийся заставить Хетти посмотреть на него и заговорить с ним.

Хетти сделала маленький, легкий книксен и, бросив на него полуробкий-полукокетливый взгляд, сказала:

– Да, благодарю вас, сэр!

– И вы должны привести с собою всех ваших детей, вы знаете, мистрис Пойзер, вашу крошку Тотти и ваших мальчиков. Я хочу, чтоб все младшие дети пришли в имение – все те, которые будут красивыми молодыми юношами и девицами, когда я буду лысым стариком.

– О, дорогой сэр, до этого еще очень далеко, – сказала мистрис Пойзер, совершенно смутившись тем, что молодой сквайр так легко отзывался о себе самом, и думая, с каким интересом муж будет слушать ее рассказ об этом замечательном образчике джентльменского юмора.

Капитана считали большим весельчаком и остряком, и он был большим фаворитом во всем имении по случаю своего вольного обращения. Все арендаторы были уверены, что дела приняли бы совершенно другой оборот, если б бразды перешли в его руки: тогда был бы рай на земле, изобилие новых ворот, дозволение брать известь и прибыли десять на сто.

– Но где же сегодня Тотти? – оглянулся он. – Мне хотелось бы видеть ее.

– Да, где же наша крошка, Хетти? – сказала мистрис Пойзер. – Она вот недавно только вошла сюда.

– Не знаю. Она пошла, кажется, в пивницу к Нанси.

Гордая мать, будучи не в состоянии противиться соблазну и не показать своей Тотти, вдруг вошла в заднюю кухню, отыскивая дочь, но вместе с тем опасаясь, не случилось ли чего с Тотти, что могло бы помешать ее крошечной особе и одежде представиться постороннему человеку в приличном виде.

– А вы носите масло на рынок, когда сделали его? – спросил между тем капитан, обращаясь к Хетти.

– О, нет, сэр, в особенности, когда оно так тяжело: у меня нет сил нести его. Алик возит масло на лошади.

– Конечно, я уверен, что ваши миленькие ручки не созданы для таких тяжестей. Но вы иногда прогуливаетесь в эти очаровательные вечера, не правда ли? Отчего вы иногда не прогуливаетесь в роще? Там теперь все так зелено, так приятно. Я не вижу вас нигде, кроме дома и церкви.

– Тетушка не любит, чтоб я ходила гулять, и я хожу только тогда, когда мне нужно идти куда-нибудь, – сказала Хетти. – Но я иногда прохожу и через рощу.

– А вы никогда не заходите к мистрис Бест, экономке? Кажется, я вас видел один раз в экономкиной комнате.

– Я хожу не к мистрис Бест, а к мистрис Помфрет, горничной леди. Она учит меня строчить белье и чинить кружева. Я приду к ней к чаю завтра после обеда.

Причину, позволившую состояться этому tête-à-tête, можно только узнать, если посмотреть в заднюю кухню, где Тотти открыли в то время, как она терла нос валявшимся мешком с синькой и в ту же минуту позволила довольно изобильным каплям синьки капать на ее чистый послеобеденный передничек. Но теперь она явилась, держа за руку мать; кончик ее кругленького носика блестел от недавнего и торопливого прикосновения воды с мылом.

– Вот она! – сказал капитан, поднимая ее и сажая на низкую каменную полку. – Вот Тотти!.. Кстати, как ее другое имя? Ведь ее крестили не Тотти?

– О, сэр, это вовсе не настоящее ее имя. Ее крестили Шарлоттой. Это фамильное имя мистера Пойзера: его бабушку звали Шарлоттой. Но мы сначала называли ее Лотти, а теперь это обратилось в Тотти. Действительно, оно скорее походит на собачье имя, нежели на имя христианского ребенка.

– Тотти – это прелестное имя. Ну, да она и похожа на Тот-ти. А что, есть у нее карман? – сказал капитан, шаря в своих жилетных карманах.

Тотти немедленно с большею важностью подняла свое платьице и показала крошечный красненький кармашек, в настоящую минуту находившийся в совершенно тощем положении.

– В нем нет ничего, – сказала она, посмотрев на карман весьма серьезно.

– Нет! Какая жалость! Такой миленький кармашек! Ну, хорошо, кажется, у меня в кармане несколько вещей, которые будут мило звучать в твоём. Да, я объявляю, что у меня есть пять небольших кругленьких серебряных вещиц, и послушайте, как мило они будут звенеть в Тоттином красненьком карманчике.

Затем капитан потряс карман с пятью полушиллингками в нем, и Тотти показала свои зубы и наморщила нос в большом восторге; но, догадываясь, что она ничего более не получит,

оставаясь здесь, она соскочила с полки и побежала, чтоб позвонить своим карманом перед Нанси, между тем как мать кричала ей вслед:

– Как тебе не стыдно, шалунья-девочка, не поблагодарила капитана за то, что он дал тебе. Это очень любезно с вашей стороны, сэр, но она просто стыд как избалована. Отец не позволяет отказывать ей ни в чем, и вот теперь с ней нельзя управиться. Вот что значит самая младшая из детей, и к тому же единственная дочь.

– О, она презабавная пышечка! Я, право, не желал бы, чтоб она переменялась. Но я должен идти теперь, ибо, я полагаю, наш приходский священник ждет меня.

Сказав «Прощайте!» и окинув кругом светлым взором и поклонившись Хетти, Артур оставил сырню. Но он ошибся, воображая, что его ждали. Приходский священник был так заинтересован своим разговором с Диной, что ему было бы неприятно окончить его раньше, и вы теперь услышите, что они говорили друг другу.

VIII. Призвание

Дина, вставшая с своего места, когда вошли джентльмены, но продолжавшая держать простыню, которую она чинила, почтительно присела, увидев, что мистер Ирвайн смотрел на нее и приближался к ней. Он до этого времени никогда не говорил с нею, никогда не стоял с ней лицом к лицу, и ее первая мысль, когда их взоры встретились, была: «Что за миловидное лицо! Дай бог, чтоб доброе семя пало на эту почву, ибо оно принялось бы несомненно». Вероятно, оба они произвели друг на друга приятное впечатление, ибо мистер Ирвайн поклонился ей с благосклонным уважением, которое было бы совершенно уместным, если б она была достойнейшей из всех знакомых ему леди.

– Вы только проездом в этой стране, кажется? – были его первые слова, когда он сел против нее.

– Нет, сэр, я пришла сюда из Снофильда в Стонишейре. Но моя тетка была так любезна и пожелала, чтоб я отдохнула от моих тамошних занятий, потому что я захворала там, и она пригласила меня прийти и остаться с ней несколько времени.

– Ах, я помню Снофильд очень хорошо: я однажды имел случай быть там. Это – печальное, открытое место. Там строили бумагопрядильную фабрику, но уже несколько лет назад. Я полагаю, что это место порядочно изменилось благодаря занятиям, которые должна была доставить бумагопрядильня.

– Оно изменилось только в том отношении, что бумагопрядильня привела в это место людей, которые достают себе пропитание, работая на ней, и доставила большую пользу торговому народу. Я сама работаю на бумагопрядильне и имею причину быть благодарною, ибо эта работа позволяет мне существовать и еще оставляет мне излишек. Но все же место то – печальное, открытое, как говорите вы, сэр, и очень отличается от этого места.

– У вас, вероятно, живут там родственники, так что вы привязаны к тому месту, как к вашему дому?

– Прежде там жила у меня тетка. Она вырастила меня, ибо я была сиротой. Но она была взята из этого мира семь лет тому назад, и у меня, сколько я знаю, нет других родственников, кроме тетушки Пойзер, которая очень добра ко мне и хотела бы, чтоб я пришла жить сюда. Конечно, здесь хорошо, нет недостатка в хлебе; но я не вольна оставить Снофильд, куда я была принята сначала и где глубоко выросла, как маленькая травка на вершине горы.

– А, у вас, кажется, много духовных друзей и товарищей там; вы методистка... последовательница Несли, если я не ошибаюсь?

– Да, моя тетка в Снофильде принадлежала к тому обществу, и я должна быть благодарна, ибо по этому самому пользовалась многими преимуществами с моего раннего детства.

– А вы давно уже стали проповедовать?.. Ибо мне говорили, что вы проповедовали в Геслоне вчера вечером.

– Я начала проповедовать четыре года тому назад, когда мне исполнилось двадцать один год.

– В таком случае ваше общество допускает женщин проповедовать?

– Оно не запрещает этого, сэр, если у женщин есть ясное призвание к этому делу и когда их церковное служение признано обращением грешников и укреплением в вере людей Божьих. Мистрис Флечер, о которой вы, вероятно, слышали, кажется, первая стала проповедовать в обществе до своего замужества, когда она была мисс Бозанке, и мистер Бесли одобрил, что она принялась за это дело. Она обладала необыкновенным даром, и там живет теперь еще много других, которых можно назвать драгоценными помощниками ближних в деле служения Богу. Я слышала, что против этого возвышались голоса в обществе в последнее время, но я вполне уверена, что это не заслужит ни малейшего внимания. Не во власти человеческой пролагать

путь духу Божью, подобно тому как люди пролагают пути для течения воды, говоря: «Теки здесь, но не теки там».

– Но не находите ли вы некоторой опасности между вашим народом... я не хочу сказать что-либо про вас в этом отношении, о, нет! я далек от этой мысли... но не находите ли вы, что иногда как мужчины, так и женщины считают себя путями духа Божьего – и совершенно ошибаются, так как посвящают себя делу, к которому они вовсе не способны, и, таким образом, возбуждают презрение к святыне?

– Без всякого сомнения, это случается иногда, ибо между нами бывали злые люди, которые старались обмануть братьев, и были также и такие, которые обманывали самих себя. Но мы не остались без наставления и наказания, при помощи которых мы налагаем узду на эти вещи. Между нами существует строгий порядок, и братья и сестры бдят над душами друг друга, подобно тем людям, которые должны отдать отчет в том. Не думайте, чтоб каждый из них шел своей дорогой и говорил: «Разве я хранитель моего брата?»

– Но расскажите мне... Если только я смею спросить вас, ибо мне было бы действительно очень интересно знать это... каким образом пришла вам первая мысль проповедовать?

– На деле-то, сэр, я вовсе не думала об этом с того времени, когда мне минуло шестнадцать лет, я стала говорить с маленькими детьми и учить их, иногда сердце мое становилось как-то обширнее, и я говорила в классе, и меня влекло молиться у изголовья больных. Но я еще не чувствовала влечения к проповеди, ибо когда я не очень побуждена к тому, то меня слишком влечет сидеть смиренно и оставаться наедине – кажется, я могла бы сидеть молча весь день с мыслями о Боге, переполнявшими мою душу, подобно тому как кремни лежат, омываемые Ивовым Ручьем. Ибо мысли так велики, не правда ли, сэр? Они, кажется, лежат на нас, как глубокий поток, и они осаждают меня в такой степени, что я забываю, где нахожусь, забываю обо всем, что меня окружает, и теряюсь в мыслях, в которых не могу дать никакого отчета, ибо я не могла бы ни начать, ни кончить их словами. И это случалось со мной с того времени, как я только помню себя, но мне иногда казалось, будто речь подходила ко мне без всякой воли с моей стороны, и слова давались мне так, что они выходили как выступают слезы, потому что наши сердца полны и мы не можем помочь этому. Те времена всегда были временами великой благодати, хотя я никогда не думала, чтоб это могло случиться со мною перед собранием народа. Но, сэр, Провидение ведет нас, как маленьких детей, по пути, которого мы не знаем. Я была призвана проповедовать совершенно внезапно, и с того времени я никогда не оставалась в сомнении об обязанности, возложенной на меня.

– Но расскажите мне об обстоятельствах... как именно случилось это... Расскажите мне о том самом дне, в который вы начали проповедовать.

– Однажды в воскресенье я с братом Марловым, который был уже стар, одним из местных проповедников, шла вместе всю дорогу в Геттон-Дипс. Геттон-Дипс – деревня, где люди добывают себе пропитание, работая в свинцовых рудах, и где нет ни церкви, ни проповедника и люди живут, как овцы без пастуха. Она отдалена от Снофильда больше чем на двенадцать миль, и мы отправились в путь рано утром, так как дело было летом, и я как-то чудесно чувствовала божественную любовь, когда мы шли по холмам, где нет таких деревьев, как здесь, – вам это известно, сэр, – деревьев, из-за которых небо казалось бы меньше, где вы видите, что небеса расстилаются над вами, как палатка, и чувствуете, что вас окружают объятия Всевышнего. Но, прежде чем мы достигли Геттона, у брата Марлова сделалось головокружение, от которого он чуть не упал, ибо он работал сверх сил своих для своих лет, бдел и проповедовал и проходил множество миль, возвещая слово Божье и занимаясь тканьем холста. И когда мы достигли деревни, то все люди ждали его, ибо он назначил время и место, когда был там прежде, и те из жителей, которые хотели слышать слово жизни, собрались на месте, где избы были гуще, так что и другие могли быть привлечены на проповедь. Но он чувствовал, что не в состоянии держаться на ногах и проповедовать, и принужден был лечь в первой избе, к кото-

рой мы подошли. Таким образом, я вышла к народу, думая, что мы войдем в один из домов и что я буду читать и молиться с ними. Но когда я проходила мимо изб и увидела пожилых, дрожавших на ногах женщин в дверях и жесткие взгляды мужчин, которых взоры, казалось, вовсе не видели воскресного утра, как будто эти люди были безгласными волами, никогда не поднимавшими глаз к небу, то я почувствовала большое движение в моей душе и дрожала всем телом, будто поколебал меня сильный дух, входивший в мое слабое тело. И я пошла туда, где собралась небольшая толпа народа, и взошла на низкую стену, выстроенную со стороны зеленого холма, и говорила слова, дававшиеся мне обильно. И жители вышли все из своих изб и окружили меня, и многие из них плакали над своими грехами и с того времени вступили в связь с Богом. Так начала я проповедовать, сэр, и с тех пор я продолжала проповедовать.

Дина опустила работу во время этого рассказа. Она говорила, по своему обыкновению, просто, но тем искренним, внятным, дрожащим дискантом, которым она всегда господствовала над своими слушателями. Она нагнулась теперь, чтоб поднять свое шитье, и затем занялась им, как прежде. Мистер Ирвайн был заинтересован чрезвычайно. Он подумал: «Только жалкий негодяй стал бы корчить здесь педагога, это все равно что пойти и читать наставление деревьям, зачем они растут по своему собственному образцу».

– И вы никогда не чувствуете какого-либо смущения от сознания вашей юности... что вы милая молодая женщина, на лицо которой устремлены глаза мужчин? – сказал он громко.

– Нет, у меня нет места для таких чувств, и я не верю, что люди когда-либо обращают на это внимание. Я думаю, сэр, что, когда Бог заставляет нас чувствовать свое присутствие, мы походим на пылающий куст. Моисей никогда не обращал внимания, какого рода был этот куст – он видел только сияние Господа. Я проповедовала таким грубым, невежественным людям, какие только могут быть в деревнях около Снофильда, – мужчинам самого жестокого и дикого вида, но они никогда не обращались ко мне с невежливым словом и часто искренно благодарили меня, когда давали мне дорогу для того, чтоб я могла пройти между ними.

– Этому я могу поверить... этому я действительно могу поверить, – выразительно сказал мистер Ирвайн. – А скажите, что выдумаете о людях, перед которыми вы проповедовали вчера вечером? Нашли ли вы их тихими и внимательными?

– Очень тихими, сэр, но я не заметила в них признаков значительного действия, исключая одной молодой девушки, которую зовут Бесси Кренедж, о которой сильно скорбела душа моя, когда я впервые заметила ее цветущую юность, предающуюся глупостям и тщеславию. Потом я разговаривала и молилась с нею отдельно и надеюсь, что ее сердце тронуту. Но я заметила, что в этих деревнях, где люди ведут тихую жизнь среди зеленых пастбищ и спокойных вод, возделывая землю и занимаясь скотоводством, встречается странная холодность к слову Божью, совершенно не так, как в больших городах, например в Лидсе, куда я заходила однажды, чтоб навестить благочестивую женщину, которая проповедует там. Удивительно, как богата жатва душ на этих окруженных высокими стенами улицах, где вы ходите, как по тюремному двору, и где слух заглушается звуками мирского труда. Я думаю, может быть, это случается потому, что слово Божье отраднее, когда жизнь так мрачна и скучна, и душа алчет более, когда тело лишено покоя.

– Да, наших фермеров нелегко расшевелить. Они живут почти так же медленно, как овцы и коровы. Но у нас есть здесь и понятливые работники. Вы, я думаю, знаете семейство Бидов. Мимоходом скажу, Сет Бид – методист.

– Да, я знаю Сета хорошо, а его брата, Адама, немного. Сет – молодой человек, над которым Бог явил свою милость, человек искренний и безукоризненный, а Адам похож на патриарха Иосифа по своей большой ловкости и знанию и по своему расположению, которое он оказывает брату и родителям.

– Может быть, вы не знаете, какое несчастье постигло их в настоящее время? Их отец, Матвей Бид, утонул в Ивовом Ручье в прошлую ночь, неподалеку от своей собственной избы. Я отправляюсь теперь, чтоб повидаться с Адамом.

– Ах, бедная старуха, их мать! – сказала Дина, вдруг опустив руки и смотря перед собою глазами, исполненными жалости, как будто видела предмет своей симпатии. – Она будет тяжело сетовать, ибо Сет рассказывал мне, что у нее заботливое, беспокойное сердце. Я должна пойти и посмотреть, не могу ли помочь ей чем-нибудь.

Когда она встала и начала складывать свою работу, то капитан Донниторн, истощив все благовидные предлоги для того, чтоб остаться между молочными чашами, вышел из сырни, сопровождаемый мистрис Пойзер. Мистер Ирвайн теперь также встал и, приблизившись к Дине, протянул ей руку и сказал:

– Прощайте. Я слышал, что вы скоро отправитесь отсюда, но вы не в последний раз посетили вашу тетку... таким образом, мы встретимся опять, я надеюсь.

Его приветливость относительно Дины совершенно успокоила заботы мистрис Пойзер, и ее лицо прояснилось более обыкновенного, когда она сказала:

– А я и не спросила о мистрис Ирвайн и мисс Ирвайн, сэр! Надеюсь, что они, слава Богу, здоровы, как всегда.

– Да. Благодарю вас, мистрис Пойзер, только у мисс Анны опять сильно болит сегодня голова. Кстати, всем нам понравился вкусный сливочный сыр, который вы прислали, и в особенности моей матушке.

– Я, право, очень рада, сэр! Я очень редко делаю этот сыр, но я вспомнила, что мистрис Ирвайн любила его. Потрудитесь засвидетельствовать ей мое почтение, также мисс Кет и мисс Анне. Они уж очень давно не заходили взглянуть на моих кур, а у меня есть несколько прелестных пестрых цыплят, черных с белым; может быть, мисс Кет желала бы иметь между своими несколько таких.

– Хорошо, я скажу ей, она должна прийти и посмотреть их. Прощайте! – сказал священник, садясь на лошадь.

– Вы поезжайте тихонько, Ирвайн! – сказал Донниторн, также садясь на лошадь. – Я догоню вас в три минуты. Я только вот пойду поговорить с пастухом о щенках. Прощайте, мистрис Пойзер! Скажите вашему мужу, что я скоро найду и буду иметь с ним продолжительный разговор.

Мистрис Пойзер почтительно присела и смотрела вслед двум лошадям до тех пор, пока они не исчезли со двора среди значительного волнения со стороны свиней и кур и при бешеном негодовании бульдога, исполнявшего пиррическую пляску, которая, казалось, каждую минуту грозила оборвать цепь. Мистрис Пойзер приходила в восторг от этого шумного выезда: он служил для нее ясным уверением, что фермерский двор был хорошо оберегаем и что празднующиеся не могли войти незамеченными. Когда ворота затворились за капитаном, только тогда она снова отправилась в кухню, где стояла Дина, держа в руках свою шляпку и ожидая тетку, чтоб поговорить с нею, а потом уже отправиться в избу Лисбет Бид.

Мистрис Пойзер, однако ж, хотя и видела шляпку, медлила принять вид, что заметила ее, а хотела прежде облегчить себя от удивления, причиненного поведением мистера Ирвайна.

– Как, и мистер Ирвайн вовсе не сердился? Что сказал он тебе, Дина? Разве он не бранил тебя за то, что ты проповедовала?

– Нет, он вовсе не сердился, он был очень приветлив со мною. Он просто заставил меня говорить с ним, и я, право, не знаю каким образом, ибо я считала его всегда светским садукеем. Но его лицо так же приятно, как утреннее сияние солнца.

– Приятно! А что ж ты ожидала найти в нем, кроме приятного? – сказала мистрис Пойзер нетерпеливо, снова принимаясь за свое вязанье. – Я думаю, что у него приятное лицо, еще бы, ведь он природный джентльмен, и мать-то у него точно картина. Ты можешь обойти всю

страну и не найдешь другой такой женщины, да еще шестидесяти шести лет. Это чего-нибудь да стоит посмотреть на такого человека, когда он в воскресенье находится на кафедре. Как я вот говорю Пойзеру, это все равно что посмотреть на полную жатву пшеницы, на отличную сырню, окруженную прекрасными коровами, – это заставляет вас думать, что на свете жить хорошо. А что касается тех созданий, за которыми бегаеете вы, методистки, то я уж лучше пошла бы посмотреть на малорослую скотину с голыми ребрами на общем выгоне. Вот славный народ для того, чтоб говорить вам о том, что справедливо, а судя по виду их, можно заключить, что они во всю жизнь свою не ели ничего лучше свиного жиру и кислого пирога. Но что сказал мистер Ирвайн о твоей глупой выходке, что ты проповедовала на Лугу?

– Он сказал только, что слышал о том; это, кажется, не причинило ему никакого неудовольствия. Но, дорогая тетушка, перестаньте думать об этом. Он сообщил мне то, что огорчит, конечно, и вас, как огорчило меня. Матвей Бид утонул вчера ночью в Ивовом Ручье, и я думаю, что старуха мать будет очень нуждаться в утешении. Может быть, я могу быть полезна ей, вот почему я взяла шляпку и намерена пойти к бедной старушке.

– Добрая душа, добрая душа! Но сначала выпей чашку чаю, дитя мое! – сказала мистрис Пойзер, вдруг переходя из молитвенного тона с пятью бемолями в открытый и веселый тон. – Чайник уж кипит и будет готов в одну минуту; притом же скоро придут и малютки и тотчас же станут просить чаю. Я нисколько не попереку тебе в том, чтоб ты отправилась к старухе, ибо ты одна из тех, приход которых в дни несчастья приносит всегда отраду. Методисты вы или не методисты, это все равно; плоть и кровь, из которых созданы люди, составляют всю разницу. Одни сыры делаются из снятого молока, а другие – из цельного, и все равно как вы их ни называйте, а вы всегда можете сказать, какое сделано из какого по виду и по запаху. Но что касается Матвея Бида, то, право, лучше, что он уж более не помеха – прости меня, Господи, что я говорю таким образом, – ибо в последние десять лет он только и делал беспокойства тем, которые были близки к нему. И я думаю, недурно было бы взять тебе с собою бутылочку рому для старухи, ибо я вполне уверена, что у нее нет и капли чего-нибудь, что могло бы утешить ее. Сядь, дитя мое, успокойся, ибо я не пущу тебя со двора, пока ты не напьешься чаю, я уж говорю тебе.

Во время последней части этой речи мистрис Пойзер доставала чайные принадлежности с полок и направилась уже в кладовую за головой сахара, близко сопровождаемая Тотти, явившейся при звуке бренчавших чашек, как Хетти вышла из сырни, давая отдых своим уставшим рукам тем, что подняла их кверху и скрестила позади головы.

– Молли, – сказала она несколько томным голосом, – беги тотчас же и принеси мне пучок листов капусты: масло готово, и его можно теперь уложить.

– Слышала ты, что случилось, Хетти? – сказала ее тетка.

– Нет, да и откуда услышу я о чем-нибудь? – был ответ, произнесенный несколько обидчивым тоном.

– Я думаю, что это тебя не бог знает как и беспокоит, когда ты услышишь, в чем дело. Ведь ты ветреная голова – ты не стала бы беспокоиться, если б и все умерли, лишь бы ты могла сидеть там в комнате наверху и наряжаться несколько часов кряду. Но все, кроме тебя, заботятся о подобных делах, случающихся с теми, которые думают о тебе гораздо больше, нежели ты заслуживаешь. Но Адам Бид и все его родные могут, пожалуй, утонуть, а тебя это и не тронет вовсе, через минуту уже ты будешь охорашиваться перед зеркалом.

– Адам Бид... Утонул? – сказала Хетти, опустив руки и осматриваясь кругом несколько потерянным взором, но подозревая, что тетка, по своему обыкновению, преувеличивала с дидактической целью.

– Нет, моя милая, нет, – сказала Дина ласково, ибо мистрис Пойзер прошла в кладовую, не удостоив дать Хетти более точное сведение. – Не Адам. Отец Адама, старик, утонул. Он утонул вчера ночью в Ивовом Ручье. Мистер Ирвайн только что сообщил мне это.

– О, как это ужасно! – сказала Хетти с серьезным видом, но не глубоко огорченная.

И так как Молли вошла теперь с капустными листьями, то она молча взяла их и возвратилась в сырню, не делая дальнейших вопросов.

IX. Мир Хетти

Между тем как она принаровляла большие листья, которые возвышали цвет бледного благоухающего масла, подобно тому как возвышается цвет белой буквицы при ее гнезде зелени, мне кажется, Хетти думала гораздо больше о взглядах, которые бросал на нее капитан Донниторн, нежели об Адаме и его огорчениях. Ясные, выражающие удивление взоры красивого молодого джентльмена с белыми руками, золотую цепочкою, иногда и мундир, богатство и неизмеримое величие – таковы были теплые лучи, заставлявшие дрожать сердце бедной Хетти и беспрестанно звучать своими безрассудными тонами. Мы не слышим, чтоб статуя Мемнона издавала звуки при стремительном дуновении могущественнейшего ветра или в ответ на какое-либо другое влияние, божественное или человеческое: она издавала звуки только при известных кратковременных утренних солнечных лучах, – и мы должны учиться принаравливаться к открытию, что некоторые из этих искусно образованных инструментов, называемых человеческими душами, имеют весьма ограниченную способность к музыке и нисколько не задрожат под прикосновением, которое наполняет других трепещущим восторгом или дрожащею скорбью.

Хетти совершенно свыклась с мыслью, что люди любили посмотреть на нее. Она не была слепа к тому, что молодой Лука Бриттон из Брокстона приходил в церковь в Геслопе по воскресеньям после обеда с целью, чтоб иметь возможность видеть ее, и что он сделал бы более решительные шаги, если б ее дядя, Пойзер, будучи невысокого мнения о молодом человеке, отец которого имел такую дурную землю, как у старика Луки Бриттона, не запретил ее тетке ободрять его какой бы то ни было вежливостью. Она заметила также, что мистер Крег, садовник, живший в Оленьей Роще, был влюблен в нее по уши и в последнее время делал признания, в которых нельзя было ошибиться, в виде сладчайшей клубники и гиперболического гороха. Она знала еще лучше, что Адам Бид – высокий, стройный, умный, бравый Адам Бид, – который пользовался таким авторитетом у всех живших в окрестности и которого ее дядя всегда был рад видеть вечером, говоря, что «Адам гораздо лучше знал толк во многих вещах, нежели те, которые считали себя лучше его», – она знала, что этот Адам, который часто бывал так суров со всеми другими людьми и не очень-то бегал за девицами, от одного ее слова или взгляда бледнел или краснел когда угодно. Сфера сравнения Хетти была необширна, но она не могла не заметить, что Адам был то, что называется, человеком, всегда знал, что сказать о вещах, мог сообщить ее дяде, как следует подпереть избу, и духом починить масляник; он с первого взгляда знал качество орешника, сваленного ветром, отчего на стенах показывается сырость и что нужно делать для того, чтоб извести крыс; у него был красивый почерк, который можно было легко разобрать; он мог делать вычисления в голове – такая степень совершенства была вовсе не известна между богатейшими фермерами той страны. Он вовсе не походил на этого олуха Луку Бриттона, который, идя однажды с ней всю дорогу от Брокстона до Геслопа, прервал молчание только замечанием, что серая гусыня начала класть яйца. А что касается мистера Крега, садовника, то он был человек довольно умный, это правда, но косоног и говорил всегда нескладно и нараспев, притом же, по самому снисходительному предположению, ему было уж очень недалеко до сорока.

Хетти нисколько не сомневалась, что ее дядя желал, чтоб она ободряла Адама, и был бы доволен, если б она вышла замуж за него. Ибо в те времена не было строгой черты разрядного разграничения между фермером и достойным уважения ремесленником, и в семейном быту, так же как и в трактирах, они часто разговаривали друг с другом за кружкой эля. Фермер тайно утешался мыслью, что он был человек с капиталом и имел влияние на приходские дела, и это поддерживало его при явном превосходстве Адама над ним в разговоре. Мартин Пойзер не был частым посетителем трактиров, но любил дружески поболтать за своим домаш-

ним пивом, и хотя было приятно излагать закон глупому соседу, который не имел никакого понятия, каким образом улучшить свою ферму, для разнообразия было также очень интересно научиться чему-нибудь у такого умного малого, как Адам Бид. Согласно с этим, в последние три года, с того времени как Адам надзирал за постройкой нового амбара, он всегда встречал радушный прием на господской мызе, в особенности в зимний вечер, когда все семейство по патриархальному обычаю, хозяин и хозяйка, дети и слуги, собирались в той знаменитой кухне в соразмерном достоинстве каждого расстоянии от яркого огня. И, по крайней мере в последние два года, Хетти привыкла слышать, как ее дядя говорил: «Адам Бид работает теперь по жалованью, но он непременно будет сам хозяином. Это так же верно, как то, что я сижу на этом кресле. Мистер Бердж поступает дельно, желая, чтоб он стал его компаньоном и женился на его дочери, если справедливо то, что говорит молва. Женщина, которая выйдет замуж за него, сделает хорошую партию, все равно, будет ли это в Благовещение или Михайлов день». Это замечание всегда сопровождалось искренним согласием со стороны мистрис Призер. «Ах, – говаривала она, – конечно, славно иметь готового богатого мужа, а может случиться, что он будет готовый дурак, и ведь бесполезно набивать карман деньгами, если в уголке есть дыра. Мало вам будет пользы, что у вас есть собственная телега: если возница глуп, то он как раз опрокинет вас в ров. Я всегда говорила, что никогда не вышла бы за человека, у которого нет мозга, ибо что тут будет хорошего, если женщина, которая имеет свой собственный мозг, привязана к дураку, над которым смеются все? Это все равно, что если б она великолепно вырядилась и поехала на осле задом».

Эти выражения, хотя их должно понимать в переносном смысле, в достаточной степени указывали на направление мыслей мистрис Пойзер относительно Адама. Хотя она и ее муж, может быть, смотрели бы на этом предмете с другой точки зрения, если б Хетти была их собственная дочь, тем не менее ясно было, что они охотно приняли бы предложение Адама жениться на бедной племяннице. Ибо Бетти в другом месте была бы только служанкой, если б дядя не взял ее к себе и не воспитал как домашнюю помощницу тетки, здоровье которой со времени рождения Тотти не допускало другой, более положительной работы, кроме надзора за прислугой и детьми. Но Хетти никогда не доказывала Адаму ясного поощрения. Даже в те минуты, когда она совершенно сознавала превосходство его над ее другими поклонниками, она никогда не заставляла себя думать о том, чтоб выйти за него замуж. Ей было приятно чувствовать, что этот сильный, ловкий, проницательный человек был в ее власти. Она пришла бы в негодование, если б он каким-либо малейшим признаком обнаружил, что хочет ускользнуть из-под ярма ее кокетливого тиранства и привязаться к милой Мери Бердж, которая была бы весьма благодарна за самое незначительное внимание с его стороны. «Мери Бердж, в самом деле такая бледнолицая девушка: если она наденет лоскуток розовой ленты, то кажется такою желтою, как одуванчик, а волосы у нее прямы, как связка бумажной пряжи». И когда Адам пропадавал на несколько недель из господской мызы или иначе обнаруживал сопротивление своей страсти, как бы считая ее безумною, Хетти старалась приманить его назад в свои сети, выказывая некоторую кротость и робость, будто его небрежность беспокоила ее. Но чтоб выйти замуж за Адама, это было дело другое! Ничто на свете не могло искусить ее к совершению такого подвига. Ее щеки никогда не покрывались большим румянцем, когда называли его имя. Она не чувствовала ни малейшего трепета, если видела из окна, что он проходил по дороге, или если он неожиданно приближался к ней по тропинке через луг. Когда глаза его отдыхали на ней, то она не чувствовала ничего, кроме холодного торжества, зная, что он любит ее и никогда не станет смотреть на Мери Бердж, он не мог возбудить в ней волнений, составляющих сладостные упоения юной любви, подобно тому как одно лишь изображение солнца не может привести в движение весенний сок в дивных фибрах растения. Она только видела в нем бедного человека, с стариками родителями, которых он должен был содержать, человека, который не был бы в состоянии – и долго не будет в состоянии – снабжать ее даже теми предметами рос-

коши, которые она имеет в доме своего дяди. А Хетти только и мечтала о роскоши: она желала сидеть в устланной ковром гостиной и всегда носить белые чулки, иметь несколько больших красивых серег, таких, какие были в моде, ноттингемские кружева по верху платья, нечто, от чего ее носовой платок мог бы хорошо пахнуть, как платок мисс Лидии Доннигорн, когда она вынимала его в церкви из кармана, и не быть обязанной вставать рано и получать от кого бы то ни было выговоры. Она думала: если б Адам был богат и мог ей дать эти вещи, то она могла бы полюбить его в достаточной степени для того, чтобы выйти за него замуж.

Но в последние несколько недель новое влияние овладело Хетти – неопределенное, атмосферическое, проявлявшееся не в сознательных надеждах или ожиданиях, но производившее приятное наркотическое действие, которое заставляло ее ступать по земле и заниматься работой как бы во сне, не позволяя ей сознавать тяжесть или труд, и показывало все предметы сквозь нежную, полупрозрачную завесу, будто Хетти жила не в этом действительном мире из кирпича и камня, а в каком-то мире, исполненном счастья и блаженства, подобном тому, какой солнечные лучи представляют нам в воде. Хетти стала замечать, как мистер Артур Доннигорн готов был подвергаться значительным беспокойствам только для того, чтоб иметь случай видеть ее; как в церкви он всегда помещался таким образом, что мог видеть ее вполне, когда она сидела и когда стояла; как он беспрестанно находил предлоги посещать господскую мызу и всегда придумывал сказать что-нибудь только для того, чтоб заставить ее заговорить с ним и посмотреть на него. Бедный ребенок в настоящую минуту так же воображал, что молодой сквайр когда-нибудь сделается ее любовником, как миловидная дочь булочника в толпе, отличенная императорскою, но выражающей удивление улыбкою, мечтает о том, что она сделается императрицей. Но дочь булочника идет домой и мечтает о красивом молодом императоре и, может быть, неверно свешивает муку, рассуждая о том, что это за божественная доля должна быть для той счастливицы, которая будет иметь его мужем, так и бедная Хетти нашла лицо и образ, которые преследовали ее всюду, наяву и в мечтах; ясные, нежные взгляды проникли в ее сердце и облили ее жизнь странною, исполненною счастья томностью. Глаза, бросавшие эти взгляды, в действительности и вполнину не были так красивы, как глаза Адама, которые иногда обращались к ней с грустною, умоляющею нежностью, но они нашли готовое посредничество в глупенькой фантазии Хетти, тогда как глаза Адама не могли проникнуть через эту атмосферу. В продолжение трех недель, по крайней мере, ее внутренняя жизнь состояла почти только из того, что она проходила в памяти взгляды и слова, с которыми Артур обращался к ней; почти только из того, что она припоминала, с каким ощущением слышала его голос вне дома, видела, как он входил, потом замечала, что его глаза были устремлены на нее, и потом еще замечала, что высокая фигура, смотревшая на нее глазами, которые, казалось, касались ее, подходила ближе в платье из красивой материи и пропитанная благоуханием, напоминавшим цветник, колыхаемый вечерним легким ветерком. Безрассудные фантазии! – как вы видите, не имеющие решительно ничего общего с любовью, которую чувствуют прелестные девушки восемнадцати лет в наши дни; но вы должны помнить, что все это случилось около шестидесяти лет назад и что Хетти вовсе не была воспитана, что она была просто дочь фермера, для которой джентльмен с белыми руками сиял как олимпийский бог. До того времени, она никогда не заботилась много о будущем и только мечтала о том, когда капитан Доннигорн придет на мызу, или о будущем воскресеньи, когда она увидит его в церкви; но теперь она думала, что он, может быть, постарается встретиться с нею, когда она пойдет завтра в рошу... а если он заговорит с нею и пройдет рядом некоторое расстояние, когда никого не будет возле! Этого, однако ж, никогда не случалось; и теперь ее воображение, вместо того чтоб представлять себе прошедшее, занималось составлением того, что может случиться завтра – около какого места в роше увидит она его, когда он пойдет к ней навстречу, как она приколет свою новую розовую ленту, которую он никогда не видел, и что он станет говорить, чтоб заставить ее возратить его взор – взор, который после того останется у нее в памяти весь день.

В таком настроении духа могла ли Хетти чувствовать несчастье Адама или думать много о том, что бедный старик Матвей утонул? Юные души, находящиеся в таком приятном бреду, в каком находилась Хетти, столь же мало сочувствуют всему, как бабочки, сосущие нектар; они разобщены от всякой действительности преградою мечтаний – невидимыми взорами и неосязаемыми руками.

Между тем как руки Хетти занимались укладкой масла и ее голова наполнена была этими картинами завтрашнего дня, Артур Донниторн, ехавший рядом с мастером Ирвайном к долине, где протекал Ивовый Ручей, также имел какие-то неясные предвкушения, пробегавшие в его душе, как течение под поверхностью реки, в то время как он слушал рассказ мистера Ирвайна о Дине, – предвкушения неясные, но довольно сильные для того, чтоб заставить его почувствовать некоторый стыд, когда мистер Ирвайн вдруг сказал:

– Что очаровывало вас так долго в сырне мистрис Пойзер, Артур? Уж не стали ли вы любителем сырых камней и молочных сосудов?

Артур знал священника слишком хорошо, и потому не считал нужным употребить какую-нибудь умную уловку; таким образом, он сказал со своею обычною откровенностью:

– Нет, я вошел посмотреть на миленькую девушку, сбывавшую масло, Хетти Соррель. Она совершенная Геба, и если б я был художником, то срисовал бы ее. Удивительно, что за миленьких девушек видишь между дочерьми фермеров, тогда как мужчины такие олухи. Обыкновенное, круглое, красное лицо, которое иногда встречаешь у мужчин – одни щеки без всяких черт, как, например, у Мартина Пойзера, – выходит у женщин в том же семействе очаровательнейшим личиком, какое только можно себе вообразить.

– Ну, я не стану возражать против того, что вы созерцаете Хетти с точки зрения художника; но я не хотел бы, чтоб вы питали ее тщеславие и набивали ее голову вздором, говоря ей, что она необыкновенная красавица, которая может привлечь изящных джентльменов; в противном случае вы испортите ее и сделаете негодной быть женой бедного человека – честного Крега, например, который, я видел, устремляет на нее очень нежные взгляды. Эта маленькая кошечка уже имеет вид, что она сделает мужа таким несчастным, каким, по закону природы, делается тихий человек, когда он женится на красоте. Кстати о женитьбе; я надеюсь, наш друг Адам устроится теперь, как его бедный старик отправился к праотцам. Ведь ему в будущем придется содержать только мать, и я заметил, что между ним и этой миловидной скромной девушкой, Мери Бердж, существует расположение; я заметил это, когда однажды разговаривал со стариком Джонатаном, который как-то проговорился насчет молодых людей. Но когда я упомянул об этом предмете Адаму, то он, казалось, был озабочен тем и переменял разговор. Я предполагаю, что любовь течет негладко или, может быть, Адам воздерживается, пока не улучшится его положение. Он обладает независимостью духа, которого хватит на два человека... Его даже можно упрекнуть в некоторой гордости, если только следует упрекнуть его в этом.

– Это была бы отличная партия для Адама. Я отвечаю за это, что он сумел бы влезть в башмаки старика Берджа и повел бы дело по постройкам превосходно. Я был бы очень рад, если б он хорошо устроился в этом приходе; тогда он был бы готов действовать как мой великий визирь, когда я буду нуждаться в визире. Мы могли бы делать вместе бесконечные переделки и улучшения. Впрочем, я, кажется, никогда не видел этой девушки... по крайней мере, я никогда не обращал на нее внимания.

– Посмотрите на нее в будущее воскресенье в церкви... она стоит со своим отцом по левую сторону кафедры. Вам тогда не нужно будет смотреть столько на Хетти Соррель. Когда я решил в своем уме, что не в состоянии купить соблазнительную собаку, то я уж и не обращаю на нее никакого внимания, ибо если б у нее явилось вдруг сильное расположение ко мне и она стала бы смотреть на меня с любовью, то борьба между расчетом и склонностью могли бы сделаться неприятной и жестокой. Я горжусь моим благоразумием в этом деле, Артур, и надеваю им вас, как старик, которому благоразумие досталось недорого.

– Благодарю вас, может быть, ваши советы очень пригодятся мне когда-нибудь, но теперь я, право, еще не знаю, какую пользу могу извлечь из них. Боже мой! Как ручей-то разлился! Если б мы ехали легким галопом, то, я думаю, были бы теперь у подошвы холма.

В этом заключается большое преимущество разговора верхом: в одну минуту можно погрузить разговор в рысь или в галоп и в седле можно увернуться даже от самого Сократа. Два друга освободились от необходимости продолжать разговор, пока они не поднялись на дорогу, пролежавшую позади Адамовой избы.

Х. Дина посещает Лисбет

В пять часов Лисбет спустилась с лестницы с большим ключом в руке; то был ключ от комнаты, где лежал покойник муж. Весь день, исключая те минуты, в которые она, время от времени, предавалась жалобам и печали, она находилась в беспрестанном движении, исполняя печальные обязанности в отношении к своему покойнику со страхом и точностью, принадлежащими к религиозным обрядам. Она вынула свой небольшой запас беленого холста, который в продолжение многих лет бережно хранила для такого торжественного употребления. Ей казалось, что только вчера было то время, после которого прошло столько знойных лет, когда она говорила Матвею, где лежал этот холст, для того, чтоб он знал и мог достать холст для нее, когда *она* умрет, ибо она была старше его. Затем ей нужно было заняться другим делом: вычистить до строжайшей чистоты всякую вещь в священной комнате и удалить из нее малейший след обычного насущного занятия. Небольшое окно, до тех пор остававшееся открытым в морозную месячную ночь или при жарком летнем восходящем солнце во время сна труженика, должно было теперь занавесить чистой белой простыней, ибо этот сон одинаково священный как под голыми бревнами, так и в оштукатуренных домах. Лисбет починила даже давнишнюю и не стоившую внимания дыру в пестром лоскутке кровати занавеси, ибо немногочисленные и драгоценные были теперь минуты, в которые она была в состоянии исполнить хотя бы самую незначительную услугу уважения или любви для неподвижного трупа, которому она во всех своих мыслях приписывала некоторое сознание. Наши покойники никогда не умерли для нас до тех пор, пока мы не забыли их; мы можем оскорблять их, мы можем уязвить их; они сознают все наше раскаяние, всю нашу боль о том, что их место стало пусто, все поцелуи, которые мы раздаем ничтожнейшим остаткам их прежнего присутствия среди нас. А пожилая крестьянка скорее всех верит тому, что ее покойники обладают сознанием. Приличные похороны – вот о чем думала про себя Лисбет в продолжение всех годов своей бережливости и неясно ожидала, что она узнает, когда ее понесут на кладбище и будут провожать муж и сыновья, а теперь она чувствовала, что совершает важнейшее дело своей жизни, заботясь о том, чтоб Матвей был прилично предан земле перед ней – под белым терном, где однажды во сне она видела себя лежащею в гробу, а между тем видела солнечное сияние над собою и слышала запах белых цветочков, которые были так густы в то воскресенье, когда она ходила в церковь, чтоб получить молитву, после рождения Адама.

Но тогда она делала все, что только могло быть сделано в тот день в комнате смерти, и делала все это сама, обращаясь к своим сыновьям за помощью только тогда, когда приходилось поднять что-нибудь. Она не позволяла, чтоб ей на помощь привели кого-нибудь из деревни, так как она не очень то была расположена к соседкам вообще, а любимая ею Долли, старая экономка в доме мистера Берджа, пришедшая выразить ей свое соболезнование в несчастье, лишь только услышала о смерти Матвея, имела очень слабое зрение и, таким образом, не могла быть ей очень полезна. Она замкнула дверь и держала теперь ключ в своей руке, когда, утомленная, бросилась на стул, стоявший не на своем месте, на середине комнаты, где в обыкновенное время она никогда не согласилась бы сесть. На кухню она не обратила в тот день ни малейшего внимания: кухня была запачкана следами грязных башмаков и имела неопрятный вид от разбросанных платьев и других предметов. Но что в другое время было бы невыносимо для Лисбет, привыкшей к порядку и чистоте, то, казалось ей, теперь и должно быть именно так. Ведь все это и должно было иметь странный, беспорядочный и скверный вид, когда старик окончил свою жизнь таким горестным образом, кухня и не должна была казаться такою, как будто не случилось ничего. Адам, побежденный волнениями и заботами этого несчастного дня, после ночи, проведенной за тяжелым трудом, спал на скамейке в мастерской, а Сет находился

в задней кухне, разводя огонь щепками, чтоб вскипятить чайник, надеясь убедить свою мать выпить чашку чая: его мать редко позволяла себе такую роскошь.

В кухне не было никого, когда Лисбет вошла в нее и бросилась на стул. Она осматривалась кругом смущенным взором на грязь и беспорядок, которые угрюмо освещало яркое послеобеденное солнце. И все это совершенно согласовалось с грустным замешательством ее мыслей – замешательством, нераздельным с первыми часами внезапной грусти, когда бедная душа человеческая походит на человека, который был положен спящим среди развалин обширного города и пробуждается в тягостном изумлении, не зная, рассветает ли день или приходит к концу, не зная, почему и откуда взялось это необъятное зрелище опустошения или почему он сам, одинокий, находится там.

В другое время первая мысль Лисбет была бы: где Адам? Но внезапная смерть мужа снова сделала его в эти часы первым предметом ее нежности, каким он был двадцать шесть лет назад; она забыла о его недостатках, как мы забываем горести нашего исчезнувшего детства, и думала только о расположении к ней молодого мужа и о терпении старика. Она продолжала озираться кругом смущенным взором, пока вошел Сет и стал переставлять некоторые из разбросанных вещей и убирать маленький круглый столик из соснового дерева, чтоб поставить на нем чай для матери.

– Что ты хочешь делать? – сказала она несколько брюзгливым голосом.

– Хочу, чтоб ты выпила чашку чая, матушка, – отвечал Сет нежно. – Тебе будет хорошо от этого; да, кстати, я приберу к стороне несколько вещей вот тут – по крайней мере, в доме будет хоть некоторый порядок.

– Порядок! Как ты можешь еще говорить о том, что хочешь привести в порядок. Оставь так, оставь. Для меня уж не будет больше прежнего спокойствия, – продолжала она, и слезы текли ручьем, когда она начала говорить, – теперь, когда нет уж на свете бедного отца, на которого я стирала и чинила и для которого тридцать лет варила обед... и он был всегда доволен, что бы я ни делала для него... А он был так ловок и проворен: готовил для меня, когда я была больна, и с гордостью приносил ко мне наверх; однажды он даже нес сынишку, который весил за двух детей, пять миль, всю дорогу до самого Ворстон-Века, а мне нужно было сходить туда, чтоб повидаться с сестрою, которая и умерла в те же рождественские праздники. И он делал это всегда так охотно, без всякого ропота! И вот нужно же было ему утонуть в ручье, через который мы шли в день нашей свадьбы вместе домой... и он наделал мне вот все эти полки, для того чтоб я могла поставить мои тарелки и другие вещи, и с гордостью показал мне на них, так как знал, что это будет мне приятно. И нужно же было умереть ему без моего ведома, когда я лежала себе сонная в постели, будто мне и дела нет никакого до этого. Ах, и я дожила до того, чтоб увидеть это! А мы когда были молоды, то вот думали, что будем счастливы, когда женимся. Нет, родной, оставь это, оставь! Не хочу я никакого чаю – мне уж нечего больше заботиться о том, чтоб я ела и пила. Когда одна сторона моста обрушится, какая польза от другой стороны, хотя она еще и цела? Пусть и я лучше умру и последую за стариком. Кто знает, может, я и нужна ему!

Тут Лисбет перешла от слов к стонам, то наклоняясь вперед, то откидываясь на стуле. Сет, всегда робкий в обращении в мать, ибо чувствовал, что не имел никакого влияния на нее, видел, что тщетны были бы его старания убедить ее или успокоить до тех пор, пока горе не утихнет несколько. Таким образом, он довольствовался тем, что присматривал за огнем в задней кухне и складывал отцовские платья, которые еще утром были вывешены, чтоб просохнуть. Он боялся шевелиться в комнате, где сидела его мать, чтоб не раздражить ее еще более.

Но Лисбет, покачавшись и постовав несколько минут, вдруг остановилась и громко сказала про себя:

– Пойду да посмотрю на Адама... не знаю, право, куда он делся? А мне нужно сходить с ним наверх, пока еще не стемнело, ибо минуты, когда еще можно мне посмотреть на покойника, проходят, как тающий снег.

Сет расслышал это и, снова войдя в кухню в то время, когда его мать поднялась со стула, сказал:

– Адам спит в мастерской, матушка. Ты уж лучше не буди его. Он ведь замучился от работы и беспокойства.

– Будить его? Кто же идет будить его? Разве я разбужу его, если взгляну на него? Я не видала его вот уж два часа... мне кажется я забыла, что он вырос с тех пор, как отец нес его на руках за мной.

Адам сидел на грубой скамейке, поддерживая голову рукою, которая от плеча до локтя покоилась на длинном верстаке, стоявшем посередине мастерской. Казалось, он присел, чтоб только отдохнуть несколько минут, и заснул, не переменяв положения, вызванного грустной, томительной мыслью. Его лицо, неумытое со вчерашнего дня, было бледно и в холодном поту, его волосы были взъерошены около лба, а закрытые глаза провалились, как это всегда бывает после продолжительного бдения и при сильном горе. Его брови были нахмурены, и все лицо выражало истощение и страдания. Джип явно находился в беспокойном состоянии духа, ибо он сидел, положив морду на выдвинувшееся колено господина, и, проводя время в том, что лизал бессознательно спущенную руку, и прислушиваясь, оглядываясь на дверь. Бедное животное было голодно и беспокойно, но не хотело оставить своего господина и с нетерпением ожидало какой-нибудь перемены в сцене. Это чувство со стороны Джипа было виной того, что когда Лисбет вошла в мастерскую и приблизилась к Адаму, как только могла, без шума, то ее намерение не разбудить его было в ту же минуту уничтожено, ибо волнение Джипа было слишком сильно и не могло не выразиться коротким, но резким лаем, и в одну минуту Адам открыл глаза и увидел, что его мать стояла перед ним. Это несколько не разнилось от его видений, ибо он во сне почти снова переживал – в лихорадочном бреде – все, что случилось с рассвета, и его мать с слезливой тоской представлялась ему сквозь все, что он видел. Главная разница между действительностью и видением состояла в том, что во сне Хетти беспрестанно являлась ему как живая, странно вмешиваясь, как действующее лицо, в сцены, до которых ей решительно не было никакого дела. Она была даже у Ивового Ручья; она рассердила его мать, войдя к ним в дом, и он встретил ее в нарядном, но совершенно мокрому платье, когда шел во время дождя в Треддльстон, чтоб сообщить о случившемся следственному приставу. Но куда бы ни шла Хетти, его мать непременно следовала за ней вскоре, и когда он открыл глаза, то несколько не удивился, увидев мать, стоящую около него.

– Ах, родной мой, родной! – в ту же минуту воскликнула Лисбет жалостливо, получив возможность сетовать, ибо горечь, когда еще свежа, чувствует потребность соединить потерю и плач со всякою переменной сцены и случая. – Кроме твоей старой матери, некому теперь мучить тебя и быть тебе в тягость: бедный отец уж больше не рассердит тебя никогда, – и твоей матери также можно убраться за ним, и чем скорее, тем лучше, потому что я не приношу теперь пользы никому. Старое платье годится только на починку другого, но на что-нибудь иное оно негодно. Тебе захочется иметь жену, которая будет чинить твои платья и готовить кушанья лучше, нежели твоя старуха мать. А я буду только в тягость, сидя в углу у печки.

Адам содрогался по временам и делал нетерпеливые движения; больше всего он опасался, что его мать заговорит о Хетти.

– Но если б твой отец был жив, он никогда не захотел бы, чтоб я уступила место другой... он ничего не стал бы делать без меня, все равно как одна сторона ножниц ничего не может сделать без другой. Э-э-эх, нам следовало бы отправиться обоим вместе, и тогда я не увидела бы этого дня, и одни похороны годились бы для нас обоих.

Тут Лисбет остановилась, но Адам сидел в тягостном безмолвии; сегодня он должен был говорить со своею матерью не иначе, как только нежно, но эти жалобы не могли не раздражить его. Бедной Лисбет невозможно было знать, какое влияние производило это на Адама, подобно тому как раненая собака не в состоянии знать, какое влияние производят ее стоны на нервы господина. Как все слезливые женщины, она жаловалась в том ожидании, что утешится, и когда Адам не говорил ничего, то это только поощряло ее жаловаться с большею горечью.

– Я знаю, что тебе было бы лучше без меня, ибо ты мог бы идти, куда захотел, и жениться на той, на какой хочешь. Но я не хочу сказать тебе, что мне было бы это неприятно; введи в дом, кого ты хочешь. Я никогда не открыла бы рта, чтоб порицать тебя, ибо люди старые и бесполезные должны быть благодарны за то, что получают чего-нибудь поесть и напиток, хотя вместе с этим они и должны глотать неприятности. И если ты отдашь свое сердце девушке, которая не принесет тебе ничего, а, напротив того, разорит тебя, когда бы ты мог получить девушку, которая сделала бы из тебя человека, то я не скажу ничего теперь, когда твой отец умер и утонул, ибо я не лучше старого черенка, когда пропал клинок.

Адам, будучи не в состоянии переносить долее эти жалобы, молча встал со скамейки и из мастерской вышел в кухню.

Но Лисбет последовала за ним:

– Ты разве не хочешь подняться и посмотреть на отца? Я сделала ему все, что нужно; ему было бы приятно, если б ты пошел взглянуть на него, ибо он был всегда доволен, когда ты обходился с ним кротко.

Адам вдруг повернулся и сказал:

– Да, матушка, пойдем наверх. Сет, пойдем вместе.

Они поднялись наверх. В продолжение пяти минут царствовало глубокое молчание. Затем ключ повернулся снова. На лестнице раздался шум шагов. Но Адам не спустился снова вниз. Он был слишком утомлен и обессилен для того, чтоб еще подвергнуться слезливой горести своей матери, и лег отдохнуть на свою постель. Лишь только Лисбет вошла в кухню и села, как накинула передник на голову и принялась плакать, стонать и качаться, как прежде. Сет подумал: «Она мало-помалу успокоится, так как мы были наверху», и он снова отправился в заднюю кухню, чтоб посмотреть за своим огоньком, надеясь, что он скоро убедит мать напиток чаю.

Лисбет, таким образом, покачивалась взад и вперед больше пяти минут, издавая слабый стон каждый раз, когда тело ее наклонялось вперед, как вдруг она почувствовала, что чья-то рука нежно коснулась ее рук и кто-то сладостным дискантом сказал ей:

– Дорогая сестра, Господь послал меня посмотреть, не могу ли я принести вам какое-нибудь утешение.

Лисбет обновилась, прислушиваясь, но не снимая своего передника с головы. Голос казался ей чужим. Неужели дух ее сестры возвратился к ней от умершей столько лет назад? Она затряслась и не смела посмотреть.

Дина, понимая, что это безмолвное удивление было само по себе облегчением для горестной женщины, не произнесла ничего более, но тихо сняла свою шляпку и затем, сделав знак молчания Сету, который, услышав ее голос, вошел с бьющимся сердцем в комнату, облокотилась одною рукою на спинку стула Лисбет и наклонилась над старухой, чтоб она могла заметить присутствие друга.

Медленно опустила Лисбет свой передник и робко открыла свои слабые темные глаза. Сначала она не увидела ничего, кроме лица – прозрачного, бледного лица, с исполненными любви серыми глазами, но оно было ей совершенно незнакомо. Ее удивление увеличилось; быть может, то был ангел. Но в то же время Дина снова положила руку на Лисбет, и старуха посмотрела на руку. Рука была гораздо меньше ее собственной, но она не была бела и изящна, ибо Дина никогда в жизни не носила перчаток и ее рука имела на себе следы тяжелой работы

с самого детства. Лисбет с минуту озабоченно смотрела на руку и потом, снова устремив глаза на лицо Дины, сказала как бы с возвращающимся мужеством, но с удивлением в голосе:

– Вы работница!

– Да, я Дина Моррис и работаю на бумагопрядильной фабрике, когда нахожусь дома.

– А! – сказала Лисбет медленно, с прежним удивлением. – И вы вошли так легко, как тень на стене, и сказали мне на ухо, так что я подумала – не дух ли вы? У вас, ни дать ни взять, такое же лицо, как вот у ангела, который изображен сидящим у гроба на картинке в Адамовой новой Библии.

– Я пришла теперь с господской мызы. Вы знаете мистрис Пойзер. Она моя тетка; она слышала о вашем большом горе и очень сожалеет о вас. А я пришла посмотреть, не могу ли быть вам в чем-нибудь полезна при вашем несчастье, ибо я знаю ваших сыновей, Адама и Сета, и знаю, что у вас нет дочери, и когда священник сказал мне, как тяжело легла на вас рука Божья, то сердце мое было увлечено к вам, я почувствовала приказание идти и заступить при вас место дочери в этой скорби, если вы только позволите.

– А, я знаю теперь, кто вы, вы принадлежите к методистам, как Сет. Он говорил мне о вас, – сказала Лисбет слезливо: ее сильное чувство скорби возвратилось теперь, когда исчезло ее удивление. – Вы станете доказывать, что несчастье ведет только к добру, как *он* все говорит. Но что же за польза говорить мне об этом? Своим разговором вам ни на каплю не уменьшите моего несчастья. Вы никогда не заставите меня поверить, что не было бы лучше, если б мой старик умер в постели, когда уж ему было суждено умереть... Если б имел при себе священника, который молился бы за него; если б я сидела у его изголовья и говорила ему... Он забыл бы дурные слова, с которыми я обращалась к нему иногда, в сердцах... Если б давала ему есть и пить до тех пор, пока он только был бы в силах глотать... Но, увы, умереть в холодной воде! И мы были так близко и ничего не знали; и я-то спала, будто и не принадлежала вовсе к нему, будто он был школьник и бродил – кто его знает где!

Тут Лисбет снова начала хныкать и качаться, и Дина сказала:

– Да, любезный друг, ваше горе велико. Тот должен иметь черствое сердце, кто скажет, что ваше несчастье не тяжело перенести. Бог послал меня к вам не для того, чтоб ни во что не ценить вашей печали, а для того, чтоб сетовать с вами, если вы позволите. Если б у вас был накрыт стол для пиршества и вы предавались веселью с вашими друзьями, то вы, верно, подумали, что поступили бы благосклонно, позволив мне прийти, сесть и наслаждаться с вами, ибо вы бы думали, что мне было бы приятно участвовать в вашем пире, но я лучше приму участие в вашем горе и в вашем труде, и потому если б вы отказали мне, то ваш отказ поразил бы меня суровее. Вы не отошлете меня назад? Вы не сердитесь на меня за то, что я пришла?

– Нет, нет! сердиться! Кто сказал, что я сержусь? Это очень хорошо с вашей стороны, что вы пришли. А ты, Сет, отчего не подашь ей чаю? Ты так торопился дать мне чаю, когда мне вовсе не нужно, а вовсе не думаешь дать тем, кому следовало бы. Садитесь, садитесь. Очень благодарю вас, что вы пришли, ибо вы получите небольшое вознаграждение за то, что идете по сырым полям, желая навестить такую старуху, как я... Нет, у меня нет родной дочери... и никогда не было... и я не печалилась тем, ибо они бедные, жалкие создания, девушки-то... я всегда желала иметь мальчиков, которые могут заботиться о себе сами. Сыновья женятся... и у меня будет довольно дочерей, даже слишком много. Но теперь сделайте чай, как вы хотите, потому что сегодня у меня нет вкуса во рту... мне все равно, что я ни буду глотать... все будет у меня отзываться горем.

Дина не подала и виду, что уже пила чай, и с большою готовностью приняла приглашение Лисбет, желая убедить старуху, чтоб она приняла пищу и питье, в которых так нуждалась после дня тяжкого труда и воздержания.

Сет был так счастлив теперь, когда Дина находилась у них в доме, и как-то поневоле думал, что ее присутствие достойным образом искупало жизнь, в которой горе следовало за

горем непрерывно. Но через минуту он уже раскаивался в этих мыслях: казалось, что он почти радовался горестной смерти своего отца. Тем не менее радость от того, что он находится вместе с Диной, должна была одержать верх: она походила на влияние климата, которого не пересилит никакое сопротивление. Это чувство отразилось на всем его лице таким образом, что обратило на себя внимание матери в то время, когда она пила чай.

– Тебе, конечно, можно говорить, что несчастье ведет к добру, Сет, ибо ты блаженствуешь от него. Кажется, у тебя нет ни заботы, ни печали, как в то время, когда ты был ребенком и, проснувшись, лежал в люльке... И всегда-то ты, бывало, откроешь глаза да и лежишь, не то что Адам... он, бывало, как проснется, не хочет лежать ни одной минуты. Ты всегда был похож на куль с мукой, который никогда нельзя раздавить, а между тем в этом отношении отец твой был совсем другой человек. Но у вас то же самое выражение, – продолжала Лисбет, обращаясь к Дине. – Я полагаю, это происходит оттого, что вы принадлежите к методистам. Не то чтоб я порицала вас за это, ибо у вас нет никакой печали, а между тем лицо ваше выражает скорбь. Э-эх! если методисты любят несчастье, то они также любят и блаженство; жаль, право, что им оно достается не всем и что они не могут отнять его у тех, кому оно неприятно. А я отдала бы его охотно: когда был жив мой старик, то я мучилась с утра и до ночи, а теперь, когда его нет, я была бы рада переносить худшее.

– Да, – сказала Дина, заботливо избегая противоречия чувствам Лисбет, ибо ее упование – в незначительнейших словах и поступках – на божественное руководство проистекало всегда из тончайшего женского такта, происходящего от искренней и всегда готовой симпатии, – да, я также помню, что когда умерла моя дорогая тетка, то мне так и хотелось слышать звук ее болезненного кашля по ночам вместо тишины, воцарившейся, когда ее уж более не было. Но теперь, любезный друг, выпейте еще эту чашку чаю и покушайте еще немного.

– Как, – сказала Лисбет, взяв чашку и говоря уже менее жалобным, тоном, – разве у вас не было ни отца, ни матери, когда вы печалились так о вашей тетке?

– Нет, я никогда не знала ни отца, ни матери. Моя тетка взяла меня еще грудным ребенком. У нее не было детей, ибо она никогда не была замужем, и воспитывала меня так нежно, будто я была ее родной дочерью.

– Ну, было же ей работы с вами, когда она взяла вас еще грудным ребенком, а сама еще была одинокой женщиной... ведь знаете, как трудно выкормить брошенного ягненка? Но, кажется, вы не были упрямы, ибо по вашему виду можно заключить, что вы не упрямылись никогда в жизни. Но что же вы стали делать, когда умерла ваша тетка, и отчего не пришли вы жить в наши места, так как мистрис Пойзер также приходится вам теткой?

Дина, заметив, что возбудила внимание Лисбет, рассказала ей историю своей прежней жизни: как она была воспитана для тяжелого труда, что за место было Снофильд, где столько людей ведут тяжкую жизнь – одним словом, передала все подробности, какие, по ее мнению, могли интересовать Лисбет. Старуха внимательно слушала рассказ, забыв свою слезливость и бессознательно подчиняясь утешающему влиянию лица и голоса Дины. Несколько времени спустя она убедилась в том, что можно позволить привести кухню в порядок, ибо Дина настаивала на этом, предполагая, что чувство порядка и спокойствия вокруг нее расположит Лисбет присоединиться к молитве, к которой Дина горячо хотела приступить. Сет между тем вышел наколоть дров, ибо думал, что Дине приятнее будет остаться с его матерью наедине.

Лисбет не сводила с нее глаз все время, как Дина убирала кухню с своим обычным спокойствием, и сказала наконец:

– Как хорошо умеете вы приводить в порядок. Я не скучала бы, если б вы были моей дочерью, ибо вы не тратили бы трудовых денег сыновей на щегольство и другой вздор. Вы не похожи на девушек, которые живут в нашей стороне. Я думаю, люди, живущие в Снофильде, вовсе не похожи на здешних.

– Многие из них ведут совершенно другую жизнь, – сказала Дина. – Они занимаются другими вещами... кто на фабрике, кто в рудах, в окружных деревнях. Но сердце человеческое одно и то же всюду, и там вы найдете детей этого мира и детей духовного мира – так же, как и всюду. Но у нас там методистов гораздо больше, нежели в ваших местах.

– Ну, я не знала, что методистки похожи на вас, потому что у нас тут есть жена Билля Маскри, которая, говорят, большая методистка, а на нее вовсе неприятно смотреть. Я уж лучше посмотрю на жабу. И право, я была бы рада, если б вы остались ночевать здесь, ибо мне было бы приятно увидеть вас в доме утром. Но может, вас будут ждать там, у мистера Пойзера.

– Нет, – сказала Дина, – там не будут ждать меня, и я сама охотно останусь у вас, если вы позволите.

– Это прекрасно! У нас места довольно. Я положу свою постель в небольшой комнате над заднею кухней, а вы можете лечь возле меня. Я буду очень рада, что вы останетесь со мною и что я могу говорить с вами ночью... мне очень нравится, как вы говорите. Ваш разговор напоминает мне ласточек, которые жили у нас прошлый год под кровлей, когда они, бывало, начинали петь тихо и нежно утром. Э-эх! а мой старик так любил этих птичек! И Адам также... Но нынешний год они не возвратились на свое место. Может, они тоже умерли.

– Вот, – сказала Дина, – теперь кухня в порядке. А теперь, дорогая матушка – ведь я ваша дочь сегодня вечером, вы знаете, – мне было бы приятно, если б вы вымыли ваше лицо и надели чистый чепчик. Помните ли вы, что сделал Давид, когда Бог отнял у него сына? Пока сын был жив, он постился и молил Бога пощадить его, ничего не ел и не пил, а всю ночь лежал на земле, воссылая к Богу горячие мольбы о сыне. Когда же он узнал, что сын умер, то встал с земли, умылся и помазался, переменял платье, ел и пил; и когда спросили его, каким образом казалось, что он перестал тосковать, тогда как сын умер, то он отвечал: «До тех пор пока сын был жив, я постился и плакал; ибо я говорил: кто может сказать мне, будет ли Бог милостив ко мне и оставит ли сына в живых? Но теперь, когда он умер, зачем стану я поститься? разве я могу возратить его? Я пойду к нему, но он не возвратится ко мне».

– О, как это справедливо! – сказала Лисбет. – Да, мой старик не возвратится ко мне, а я отправлюсь к нему... и чем скорее, тем лучше. Ну, хорошо, делайте со мной, что хотите; чистый чепчик вы найдете вон в том комоде, а я пойду в заднюю кухню и умою лицо. А ты, Сет, пожалуй, достань новую Библию Адама с картинками, и она вот прочтет нам главу. Э-эх, как я полюбила те слова: «Я пойду к нему, но он не возвратится ко мне».

Дина и Сет внутренне благодарили Бога за то, что Лисбет стала гораздо покойнее духом. Вот чего старалась достигнуть Дина посредством всей своей симпатии и воздержания от увещаний! С самого девичества до настоящего времени она приобрела опытность в обхождении с больными и скорбящими, с людьми зачерствелыми и огрубелыми от нищеты и невежества. Она приобрела тончайшее понимание, каким образом можно было лучше всего тронуть и смягчить людей до того, что они соглашались внять словам духовного утешения или предостережения. Так говорила Дина. Она никогда не бывала предоставлена самой себе, но ей внушалось всегда свыше, когда она должна хранить молчание и когда говорить. И разве все мы не согласимся назвать быстрые мысли и благородное побуждение именем вдохновения? Анализируя умственным процессом и строжайшим образом, мы должны всегда сказать, как говорила Дина, что наши высшие мысли и наши лучшие поступки все даются нам свыше.

Таким образом, там вознеслась к небу горячая молитва – там, в тот вечер, в маленькой кухне, изливались вера, любовь и надежда. И бедная, пожилая, слезливая Лисбет, не имея никакой определенной идеи, не проходя ни по какому пути волнений, возбуждаемых религией, сознавала какое-то неопределенное чувство доброты и любви и чего-то справедливого, находившегося за этой жизнью, исполненной одних печалей. Она не могла понимать печали, но в те минуты, под утешающим влиянием гения Дины, она сознавала, что должна быть терпелива и покойна.

XI. В избе

На другой день, утром, когда было только половина пятого, Дина, уставши лежать (она проснулась уже давно и лежала, вслушиваясь в пение птиц и наблюдая за светом, мало-помалу проникавшим в небольшое окно на чердаке), встала и начала одеваться весьма осторожно, чтоб не беспокоить Лисбет. Но еще кто-то ходил уже в доме и спустился с лестницы, предшествуемый Джипом. Шумные шаги собаки служили верным признаком, что вниз спустился Адам, но Дина не знала этого и думала, что это был, вероятно, Сет, ибо последний рассказал ей, как Адам настойчиво проработал прошлую ночь напролет. Сет, однако ж, проснулся только теперь, при звуке отворявшейся двери. Сильное влияние вчерашнего дня, увеличенное под конец неожиданным присутствием Дины, не встретило противодействия в каком-нибудь физическом утомлении, ибо Сет не занимался вчера тяжелою работою в обычной мере. Таким образом, когда он лег спать, то дремота овладела им тогда, когда он измучился в продолжение нескольких часов беспокойной бессонницей, и он погрузился в тяжелый утренний сон, чего с ним обыкновенно не случалось.

Но Адам освежился продолжительным отдыхом и, по своему обыкновению, горя нетерпением выйти из бездействия, желал начать новый день и подавить горе сильной волей и сильной рукой. Белый туман лежал на долине, наступал ясный, теплый день, и Адам снова хотел приняться за работу, когда позавтракает.

– До тех пор пока человек может работать, нет ничего на свете, чего он не был бы в состоянии перенести, – подумал он. – Природа вещей не изменяется, хотя и кажется человеку, что вся его жизнь не что иное, как перемена. Четыре в квадрате составляют шестнадцать, и человек должен удлинять свой рычаг пропорционально со своею тяжестью – это все равно, когда человек несчастлив, иногда счастлив; а лучшее качество работы то, что она дает человеку возможность бороться с судьбой.

Когда он sprysнул холодной водой голову и лицо, то совершенно пришел в себя; его черные глаза были, по обыкновению, пронизательны, его густые черные волосы блестели от свежей влаги. Он вошел теперь в мастерскую, чтоб приискать дерева для гроба своего отца. Он полагал снести с Сетом дерево к Джонатану Берджу и дать там сделать гроб одному из работников, дабы его мать не могла видеть и слышать, как это грустное дело будет исполняться дома.

Он только что успел войти в мастерскую, как его чуткое ухо различило легкие, быстрые шаги на лестнице... он узнал, что то не были шаги его матери. Он лежал в постели и спал, когда Дина пришла к ним в дом, вечером, и потому с удивлением подумал: чьи могли быть эти шаги? В голове его мелькнула безрассудная мысль, которая произвела в нем странное волнение. Неужели то могла быть Хетти? Она была последним лицом, которое могло бы прийти к ним. А между тем ему не хотелось пойти посмотреть, чтоб иметь ясное доказательство, что там был кто-то другой. Он стоял, прислонясь к доске, которую только что взял, и прислушивался к звукам, которые его воображение объясняло ему так приятно, что на его смелом, строгом лице разлилась какая-то робкая нежность. Легкие шаги раздавались в кухне, сопровождаемые звуком щетки, которой мели пол; шум этот был так тих, что напоминал легчайший ветерок, гонящий осенний лист по пыльной дорожке. И Адамово воображение видело миловидное лицо с темными, блестящими глазами и плутовскою улыбкой, осматривавшееся на щетку, и округленную фигуру, наклонившуюся несколько для того, чтоб схватить щетку за ручку. Да, весьма безрассудная мысль... это не могла быть Хетти. Но для того, чтоб освободить голову от этого вздора, оставалось одно лишь средство: выйти и посмотреть, кто был там, ибо его воображение только все более и более приближалось к полной уверенности, в то время как он стоял на месте и прислушивался. Он оставил доску и подошел к кухонной двери.

– Здравствуйте, Адам Бид, – сказала Дина своим спокойным дискантом, перестав мести и устремляя на него кроткие, серьезные глаза. – Я уверена, что вы отдохнули и подкрепили свои силы, так что снова можете переносить дневное бремя и жар.

Адам, казалось, задремал при солнечном сиянии и теперь просыпался при лунном свете. Адам видел Дину несколько раз, но всегда на господской мызе, где он почти не замечал присутствия какой-нибудь женщины, кроме Хетти, и только в последние два-три дня стал подозревать, что Сет был влюблен в нее, так что до настоящей минуты он не обращал на нее внимания ради своего брата. Но теперь ее стройная фигура, ее обыкновенное черное платье и ее бледное, спокойное лицо произвели на него такое сильное впечатление, какое принадлежит действительности, находящейся в противоречии с фантазией, охватывающей все мысли. В первые две минуты он не отвечал ничего, а смотрел на нее сосредоточенным, испытующим взором, какой обращает человек на предмет, который внезапно сделался для него интересным. Дина – первый раз в жизни – чувствовала болезненное самосознание; в темном, пронизательном взоре этого строгого человека было что то столь различное с кротостью и робостью его брата Сета. На ее лице показался сначала слабый румянец, которой увеличится потом, когда она удивилась этому. Румянец вызвал Адама из его забывчивости.

– Я был совершенно поражен изумлением; это было очень хорошо с вашей стороны, что вы пришли навестить мою мать в ее несчастье, – сказал он кротким, исполненным благодарности тоном, ибо его быстрое соображение сразу показало ему, каким образом случилось, что она была у них в доме. – Я надеюсь, моя мать благодарила судьбу, что вы были при ней, – прибавил он почти со страхом думая о том, какой прием был сделан Дине.

– Да, – сказала Дина, снова принимаясь за работу, – она, кажется, очень успокоилась после некоторого времени и ночью спала хорошо, хотя и просыпалась несколько раз. Она спала крепко, когда я оставила ее.

– Кто принес это известие к вам, на мызу? – спросил Адам, и его мысли возвратились к кому-то другому. Он хотел знать, чувствовала ли она что-нибудь, узнав о его несчастье.

– Мистер Ирвайн, пастор, сказал мне об этом, и моя тетка была очень огорчена за вашу матушку, когда услышала об этом, и хотела, чтоб я пришла сюда; я уверена, что и дядю поразило ваше несчастье теперь, когда ему сказали об этом, но он весь вчерашний день был в Рос-сетере. Все они будут ждать вас, когда время позволит вам сходить туда, ибо нет никого там в доме, кто не был бы рад видеть вас.

Дина, с ее симпатическою способностью угадывать, знала очень хорошо, что Адаму сильно хотелось слышать: сказала ли Хетти что-нибудь о его несчастье? Она слишком сурово была привязана к истине и не могла изменить ей, хотя бы для благодетельной выдумки, но она сумела сказать так, что в ее ответе подразумевалась и Хетти, хотя о последней не было произнесено ни слова. Любовь умеет обманывать себя сознательно, как ребенок, который один играет в прятки; она довольствуется уверениями, которым, однако ж, нисколько не верит. Адам так был доволен тем, что сказала Дина, что все его мысли тотчас же обратились к тому времени, когда он в следующий раз пойдет на мызу и когда Хетти, может быть, обойдется с ним ласковее, чем она обходилась с ним до этого времени.

– Но вы сами недолго останетесь там? – сказал он, обращаясь к Дине.

– Нет, я возвращусь в Снофильд в субботу и должна отправиться в Треддльстон пораньше, чтоб застать окбурнского извозчика. Таким образом, я должна возвратиться на мызу сегодня вечером, ибо мне хочется провести последний день с теткой и ее детьми. Но я могу остаться здесь весь день, если захочет ваша матушка... а она, кажется, почувствовала ко мне расположение вчера вечером.

– Ах, в таком случае она, конечно, захочет иметь вас при себе сегодня. Если матушка прибегнет к людям в начале знакомства, то она, наверно, полюбит их, но у нее странное обыкновение: она не любит молодых женщин. Я должен, однако ж, прибавить, – продолжал Адам,

улыбаясь, – что если она не любит других молодых женщин, то из этого еще не следует, чтоб она была не расположена и к вам.

До этого времени Джип присутствовал при разговоре в неподвижном молчании, сидел на задних лапах и попеременно то смотрел на лицо своего господина, наблюдая за его выражением, то следил за движениями Дины в кухне. Добрая улыбка, с которой Адам произнес последние слова, очевидно, решила затруднение Джина, в каком свете он должен был смотреть на незнакомку, и, когда она повернулась, чтоб убрать половую щетку, то Джип подбежал к ней и, ласкаясь, приложил морду к ее руке.

– Видите, Джип приветствует вас, – сказал Адам, – а он вовсе не щедр на приветствия незнакомым.

– Бедное животное, – сказала Дина, хлопая на грубой серой шерсти собаки. – Странно, когда я гляжу на этих безгласных животных, то мне всегда кажется, что они хотят говорить и чувствуют себя несчастными оттого, что не могут. Я против воли всегда сожалею о собаках, хотя, может быть, это было бы вовсе не нужно. Но они очень могут иметь в себе больше и не знают, как заставить нас понять их, ибо мы не можем выразить, со всеми нашими словами, и половины того, что чувствуем.

Сет в это время также сошел вниз и с удовольствием увидел, что Адам разговаривает с Диной. Он хотел, чтоб Адам знал, насколько она была лучше всех других женщин. Но после немногих приветственных слов Адам потащил его в мастерскую, чтоб посоветоваться насчет гроба, и Дина опять принялась за уборку.

Около шести часов все они собрались к завтраку с Лисбет в кухне, которая была так чиста, как только она бывала у самой Лисбет. Окно и дверь были открыты, и утренний воздух приносил с собою смешанное благоухание божьего дерева, фимиама и душистого шиповника из небольшого садика, находившегося со стороны избы. Сначала Дина не садилась, а ходила взад и вперед, подавая другим горячую похлебку и поджаренные овсяные лепешки, которые она приготовила, как они приготовлялись всегда, ибо она просила Сета сказать ей наверное, что давала им к завтраку их мать. Лисбет была необыкновенно молчалива с того времени, как сошла сверху, очевидно нуждаясь во времени, для того чтоб настроить свои мысли согласно с порядком дел, в котором она очутилась, спустившись вниз, как леди, которая нашла всю свою работу исполненной и села, ожидая, что ей будут прислуживать. Ее новые чувства, казалось, исключали даже воспоминание о ее печали. Наконец, попробовав похлебку, она прервала молчание.

– Вы могли бы сварить похлебку и хуже, – сказала она, обращаясь к Дине. – Я могу есть ее с аппетитом, хотя не сама варила ее. Можно бы было, однако ж, сделать ее несколько погуще, и я также всегда кладу капельку мяты, когда сама варю, но откуда же вам знать это?.. Сыновьям не скоро удастся найти кого-нибудь другого, кто готовил бы им похлебку так, как я, и то хорошо, если хоть найдется вообще кто-нибудь, чтоб сварить похлебку. Но вы можете варить ее, если вам только показать немного; вы очень живы утром, вы легки на ноги и убрали дом довольно хорошо на первый случай.

– На первый случай, матушка? – сказал Адам. – Кажется, дом убран отлично. Я не знаю, как еще можно убрать лучше.

– Ты не знаешь. Нет! Как же тебе и знать это? Мужчины никогда не знают, вымыт ли пол или облизала его кошка. Но ты узнал бы, если б тебе подали подожженную похлебку, что, вероятно, и будет случаться, когда я перестану варить. Тогда ты подумаешь, что твоя мать годилась же на что-нибудь.

– Дина, – сказал Сет, – садитесь, пожалуйста, теперь и завтракайте сами. Нам всем уж подано.

– В самом деле, идите сюда и садитесь... да, – сказала Лисбет, – и поешьте чего-нибудь, почти полтора часа вы были на ногах, вам нужно подкрепить себя. Пожалуйста же, – добавила

она слезливым, но дружеским тоном, когда Дина села рядом с ней, – мне будет досадно, если вы уйдете, но, кажется, вам нельзя оставаться долее. С вами я могла бы хорошо вести хозяйство, но я не скажу того же о большей части других людей.

– Я останусь до вечера, если вы хотите, – сказала Дина. – Я осталась бы долее, но я возвращусь в Снофильд в субботу и завтра должна быть у тетки.

– Эх, я никогда не возвратилась бы в те места. Мой старик был родом из Стонишейра, но оставил свою родину, когда был еще молодым человеком, и хорошо сделал. Он говорил, будто там вовсе нет лесу и что это дурные места для плотника.

– Ах, – сказал Адам, – я помню, отец говорил мне, когда я был еще мальчиком, что он решил, если вздумает когда-нибудь переселиться, идти на юг. Но я не решился бы на это с такою уверенностью. Бартль-Массей говорит – а он ведь знает юг, – что северные люди лучшей породы, нежели южные, что они крепче головою, и телом сильнее, и гораздо выше ростом. Потом он говорит, что в некоторых из тех областей местность плоска, как ваша ладонь, и вы ничего не увидите на большое расстояние, если не влезете на самое высокое дерево. Я не мог бы ужиться там: я люблю ходить на работу в те места, где могу подняться и на холм, и видеть вокруг себя поля на целые мили и мост или город... и там и сям что-нибудь вроде колокольни. Это заставляет тебя чувствовать, что мир – обширное место и что в нем, кроме тебя, работают другие люди головою и руками.

– А мне больше нравятся горы, – сказал Сет, – когда облака находятся над твоей головой, и ты видишь, как солнце блестит на такое далекое расстояние над ломфордской дорогой, что я часто делал в последнее время в бурные дни; мне кажется, что это небо там, где всегда радость и солнечное сияние, хотя эта жизнь мрачна и покрыта тучами.

– О, я люблю стонишейрскую сторону, – сказала Дина, – и вовсе не хотела бы показаться там, где люди богаты хлебом и скотом, и где земля так ровна, и по ней так легко ходить; я никогда не захочу повернуться спиной к горам, где бедные люди должны вести столь тяжкую жизнь и мужчины проводят дни свои в трудах с самого солнечного восхода. Какое блаженство чувствовать в своей душе любовь Божью в бледный, холодный день, когда небо мрачно нависло над горами, и нести эту любовь в одинокие, голые каменные дома, где ничто другое не служит утешением.

– Эх! – сказала Лисбет. – Вам очень хорошо говорить таким образом... вы вот ни дать ни взять те подснежники, которые я собирала в прежнее время... они жили одною лишь каплей воды и лучом дневного света, а людям голодным лучше следовало бы оставить голодную сторону. Тогда там было бы меньше народу, между которым пришлось бы делить скудный пирог. Но, – продолжала она, смотря на Адама, – не говори, что ты пойдешь на юг или на север, что оставишь своего отца и свою мать на кладбище и что ты пойдешь в места, которых они никогда не знавали. Я никогда не буду покойна в могиле, если не увижу, что ты приходишь на кладбище каждое воскресенье.

– Не бойся, матушка, – сказал Адам. – Если б я не решился не идти, то я уж ушел бы давно.

Он кончил завтракать и встал, произнеся последние слова.

– Что ты будешь делать? – спросила Лисбет. – Ты будешь делать отцу гроб?

– Нет, матушка, – сказал Адам. – Мы снесем лес в деревню, и гроб сделают там.

– Нет, родной, нет! – воскликнула Лисбет быстро и жалостливо. – Нет, не давай делать гроб отцу чужим, а сделай его сам. Кто может сделать гроб так хорошо, как ты? Ведь он знал, что значит хорошая работа, и оставил сына, который по уму своему считается первым в деревне, а также в Треддльстоне.

– Очень хорошо, матушка, если ты непременно желаешь, то я сделаю гроб дома, но я думал, что тебе неприятно будет слышать, как мы будем работать.

– Отчего же будет мне неприятно? Ведь так и следует, чтоб он был сделан дома. Если гроб нужно сделать, то что тут говорить, нравится ли мне что-нибудь или нет. Ведь на этом свете мне не остается другого выбора, как одни лишь неудовольствия. Когда во рту нет вкуса, то тебе все равно, возьмешь ли ты один кусок или другой. Займись этим тотчас же, утром, прежде всего. Я не хочу, чтоб кто-нибудь другой дотронулся до гроба, кроме тебя.

Глаза Адама встретились с глазами Сета, который смотрел на Дину, а потом устремил на брата задумчивый взор.

– Нет, матушка, – сказал он, – я соглашусь, чтоб только Сет приложил руку к работе, если гроб должен быть сделан дома. Я схожу в деревню до обеда, ибо мистеру Берджу нужно, может быть, видеть меня, а Сет останется дома и начнет делать гроб. Я могу возвратиться около полудня, а тогда он может идти.

– Нет, нет, – настаивала Лисбет, начиная хныкать. – У меня просто все сердце изноет, если ты не будешь делать гроб отца. Ты такой упрямый и суровый человек, что никогда не сделаешь так, как хочет твоя мать. Ты часто сердился на отца, когда он был жив; ты должен лучше обходиться с ним теперь, когда его уж нет. Он не стал бы считать ни во что, если б Сет сделал гроб.

– Довольно, Адам, довольно, – сказал Сет кротко, хотя по его голосу можно было заключить, что он говорил с усилием. – Матушка права. Я пойду на работу, а ты оставайся, пожалуйста, дома.

Он немедленно пошел в мастерскую, сопровождаемый Адамом, между тем как Лисбет, повинувшись, как автомат, своим прежним привычкам, начала убирать завтрак, как бы не думая, что Дина еще останется при ней. Дина не сказала ничего, но тотчас же воспользовалась удобным случаем и спокойно присоединилась к братьям в мастерской.

Они уже подвязали передники и надели бумажные колпаки, и Адам стоял, положив левую руку на плечо брата и указывая молотком, находившимся в правой руке, на доски, на которые оба они смотрели. Они стояли спиной к двери, в которую вошла Дина; она вошла так тихо, что они только тогда заметили ее присутствие, когда услышали ее голос. «Сет Бид!» – тихо произнесла она. Сет вздрогнул, и оба брата обернулись. Дина показывала вид, что она не видела Адама, и устремила глаза на лицо Сета, произнеся со спокойною ласкою:

– Я не хочу проститься с вами. Я увижу вас еще раз, когда вы возвратитесь с работы. Так как я должна быть на мызе до сумерек, то это будет довольно скоро.

– Благодарю вас, Дина, мне будет приятно проводить вас домой еще раз. Быть может, это будет в последний раз.

Голос Сета несколько дрожал. Дина протянула ему руку и сказала:

– Вы будете иметь сладостный мир в вашей душе сегодня, Сет, за вашу нежность и долготерпение относительно вашей престарелой матери.

Она повернулась и оставила мастерскую так же быстро и так же нешумно, как и вошла в нее. Адам все это время внимательно наблюдал за ней, но она не посмотрела на него ни разу. Как только она вышла из комнаты, он сказал:

– Я не удивляюсь, что ты любишь ее, Сет. У нее лицо как лилия.

Душа Сета вся выразилась в глазах и на устах. До этого времени он не открывал своей тайны Адаму, но теперь им овладело сладостное чувство облегчения, когда он отвечал:

– Да, Адди, я люблю ее... слишком, кажется. Но, брат, она меня не любит, разве только так, как одно дитя Бога любит другое. Она никогда не будет любить мужчину как мужа, в этом я уверен.

– Нет, брат, это еще нельзя сказать; ты не должен унывать. Она создана из тончайшей материи, нежели большая часть женщин; я могу видеть это довольно ясно. Но если она и лучше их в других делах, я, однако ж, не думаю, чтоб она уступила им относительно любви.

Больше не было сказано ничего. Сет отправился в деревню, а Адам принялся за гроб.

«Боже! помоги брату, и мне также, – подумал он, поднимая доску. – Очень вероятно, что для нас жизнь будет тяжким трудом... Жестокою работою внутри и извне. Странное дело, когда подумаешь, что человек, который может поднять стул своими зубами и пройти разом пятьдесят миль, дрожит и то горит, то зябнет только от взгляда одной из всех женщин на свете. Это тайна, которую объяснить себе мы не можем; что до этого касается, то мы так же точно не можем объяснить себе выход отростка из семени».

ХII. В лесу

В этот же самый четверг, утром, в то время как Артур Донниторн ходил взад и вперед в своей уборной, видел, как его привлекательная британская личность отражалась в старомодных зеркалах и на него с темных, оливкового цвета обоев тарашили глаза фараонова дочь и ее девушки, которые должны были бы заботиться о младенце Моисее, он имел сам с собой рассуждение, которое, в то время как его слуга повязывал черную шелковую перевязь через плечо, кончилось определенным практическим решением.

– Я думаю отправиться в Игльдель на неделю или на две и поудить, – сказал он громко. – Я возьму тебя с собою, Ним, и отправлюсь сегодня утром; итак, будь готов к половине двенадцатого.

Слабый свист, который помог ему дойти до этого решения, теперь изменился в самый громкий и звонкий тенор, и когда Артур торопливо шел по коридору, то эхо отвечало на его любимую песню из оперы «Бродяги»:

Когда сердце человеческое угнетено заботою...

Нельзя сказать, чтоб то был героический напев; тем не менее Артур чувствовал себя в весьма героическом настроении духа, когда подошел к конюшням, чтоб отдать приказание касательно лошадей. Ему было необходимо его собственное одобрение, а этого одобрения нельзя было достигнуть совершенно даром, его до лжно было достигнуть значительной заслугой. Он до этого времени никогда не лишался этого одобрения и имел значительное упование на свои собственные добродетели. На свете не было молодого человека, который сознавался бы в своих недостатках так чистосердечно; чистосердечие было одною из его любимых добродетелей, а каким образом откровенность человека может обнаружиться во всем ее блеске, если у него нет нескольких проступков, о которых он мог бы рассказать? Но он обладал приятной для него уверенностью, что все его недостатки были великодушного рода – стремительные, горячие, львиные, никогда не ползающие, коварные, пресмыкающиеся. Артуру Донниторну было невозможно сделать что-нибудь низкое, малодушное или жестокое. «Нет, правда, что я всегда попадаю в затруднительное положение, но я всегда стараюсь, чтоб бремя пало на мои собственные плечи». К несчастью, мы редко видим, чтоб настоящее поэтическое правосудие преследовало проступки, и они иногда упрямо отказываются наказать самыми дурными последствиями настоящего виновника, вопреки его громко выраженному желанию. Благодаря только этому недостатку в форме вещей Артур никогда не делал кому-либо беспокойств, кроме себя. Он был человек добродушный, и все его картины будущего, когда он будет введен во владение имением, состояли из того, что он мечтал о цветущих, довольных поселянах, обожающих своего землевладельца, который был бы образцом английского джентльмена, о доме первостепенного разряда, где все свидетельствовало бы об изяществе и высшем вкусе, о веселой домашней жизни, о лучшем в Ломшейре охотничьем заведении, о кошельке, открытом на все общественные предметы, – одним словом, все будет в возможно различном виде от того, что было в связи с именем Донниторн теперь. И одно из первых добрых дел, которые он совершит в будущем, будет состоять в том, чтоб увеличить доход Ирвайна по геслопскому викарству, так что пастор будет в состоянии содержать карету для матери и сестер. Его искренняя склонность к священнику считалась еще с возраста, когда он носил юбочки и шаровары. Склонность эта была частью сыновняя, частью братская: сыновняя – в том отношении, что он любил общество Ирвайна лучше, нежели общество большей части молодых людей, и братская – в том отношении, что она заставляла его сильно беспокоиться о том, чтоб не заслужить порицания Ирвайна.

Вы замечаете, что Артур Донниторн был добрый мальчик – таким считали его все его друзья по коллегии, – он не оставался равнодушным, когда видел кого-нибудь в беспокойстве, он был бы опечален даже в то время, когда был огорчен дедом, услышав, что с его дедушкой

случилось что-нибудь неприятное, и сама тетка его Лидия извлекала пользу из его расположения ко всему прекрасному полу. Имел ли бы он достаточно власти над самим собою для того, чтоб быть всегда настолько безвредным и чисто благодетельным, насколько то позволял желать его добрый характер, этот вопрос до настоящего времени никто не решал против него: вы помните, ему было только двадцать один год. И мы не станем вдаваться в слишком точные исследования о характере красивого, благородного молодого человека, у которого будет достаточно имения для того, чтоб справиться со своими многочисленными грешками, который, если б он, по несчастью, переломил человеку ноги при безрассудной езде, будет в состоянии вознаграждать его приличною пенсией или, если б ему случилось испортить будущность женщины, примирит ее с этим несчастьем дорогими «гостинцами», которые он уложит и адресует к месту назначения собственноручно. Смешно было бы быть столь же пытливым и аналитическим в этом случае, как мы обыкновенно бываем, когда рассматриваем аттестат человека, которого нанимаем. Мы обыкновенно употребляем неопределенные, общие, джентльменские эпитеты о молодом человеке хорошего происхождения и обладателе богатства, и дамы, одаренные тонким тактом, составляющим отличительное качество их пола, сразу видят, что он прекрасный молодой человек. Весьма вероятно, что он проведет жизнь, не скандализируя никого как годное судно, которое никто не откажется принять в застрахование. Корабли, разумеется, подлежат случайностям, иногда страшно обнаруживающим какие-нибудь недостатки в постройке, которые никогда нельзя было бы открыть в тихих водах, так и не один добрый мальчик обнаруживает свою слабую сторону только при каком-нибудь несчастном стечении обстоятельств.

Но мы не имеем достаточного основания к тому, чтоб делать неблагоприятные предвещения относительно Артура Донниторна, который в то утро доказал, что он был способен иметь разумное решение, основанное на совести. Одно было ясно: природа позаботилась о том, чтобы он, делая что-нибудь против совести, никогда не оставался совершенно спокойным и довольным собою, чтоб он никогда не переходил границы греха, за которой стали бы постоянно терзать его приступы с другой стороны рубежа. Он никогда не будет явным партизаном порока и носить в петлице его украшения.

Было около десяти часов, и солнце сияло великолепно; все имело более радостный вид благодаря вчерашнему дождю. Как приятно идти в такое утро по хорошо укатанному песку по дороге к конюшням и думать о прогулке! Но запах конюшен, который, по естественному положению вещей, должен бы иметь смягчающее влияние на жизнь человека, всегда приводил Артура в некоторое раздражение. Он никак не мог добиться, чтоб конюшни были устроены по его желанию: все тут свидетельствовало о беспримерной скупости. Его дед непременно настаивал на том, чтоб удержать главным грумом старого олуха, которого никаким рычагом нельзя было заставить бросить свои старые привычки. Этому же старому олуху было позволено нанимать себе помощниками целое потомство неотесанных ломшейрских парней, из которых один, пробуя недавно новую пару ножниц, вырезал продолговатый кусок из уха гневной кобылы Артура. Такое положение вещей, естественно, должно огорчать человека; можно еще, пожалуй, сносить неприятности по дому, но если конюшни представляют сцену огорчений и неудовольствий, то после этого можно ожидать, что человеческая плоть и кровь выдержат много, не подвергаясь опасности от мизантропии.

Деревянное, испещренное глубокими морщинами лицо старого Джона было первым предметом, попавшимся на глаза Артуру, когда он пошел на конюшенный двор. Это обстоятельство совершенно отравило обыкновенно приятный для его охотничьего слуха лай двух ищеек, которые стерегли двор. Он никогда не мог равнодушно разговаривать со старым глупцом.

– Оседлай мне Мэг и подведи к подъезду в половине двенадцатого, и в то же время чтоб был оседлан и Раттлер для Пима. Слышишь?

– Да, слышу, слышу, капитан, – сказал старый Джон, чрезвычайно медленно следуя за молодым господином в конюшню.

Джон смотрел на молодых господ как на естественных врагов старого слуги, и вообще он считал молодых людей весьма жалким средством к продолжению мирских дел.

Артур вошел в конюшню только для того, чтоб погладить Мэг, по возможности стараясь не заметить ничего в конюшнях, что могло бы испортить его расположение духа перед завтраком. Красивое животное стояло в одной из внутренних конюшен и повернуло свою кроткую голову, когда господин подошел к нему. Тротка, крошечная эспаньолка, неразлучная подруга кобылы в конюшне, свернувшись, спокойно лежала у Мэг на спине.

– Ну, Мэг, моя красавица, – сказал Артур, глядя ее по шее, – мы славно поскачем галопом сегодня утром.

– Нет, ваша милость, я не вижу, каким образом это может случиться, – сказал Джон.

– Не может быть? А отчего же?

– Да потому что она хромает.

– Хромает, черт тебя возьми! Что ж это значит?

– Да вот, мальчик подвел ее слишком близко к дальтоновым лошадям; одна из них выкинула задними ногами и ушибла ее в колено передней правой ноги.

Рассудительный историк воздержится от подробного описания того, что последовало за объяснением. Вы поймете, что было произнесено много сильных слов, смешанных с утешительными приговорками, в то время, когда исследовали ушиб ноги, что Джон стоял при этом в таком же волнении, как будто был дубиною, искусно вырезанною из дикой яблони, и что Артур Донниторн вскоре вышел в чугунные ворота парка, уже не напевая, как прежде, когда входил в него.

Он считал себя совершенно расстроенным и огорченным. В конюшнях не было других верховых лошадей для него самого и для его слуги, кроме Мэг и Раттлера. Это было досадно, и случилось именно в то время, когда он хотел отлучиться на неделю или на две. Казалось, можно было обвинять Провидение, что оно допустило такое стечение обстоятельств. Как было скучно сидеть взаперти на Лесной Даче с переломленною рукою, когда все другие его товарищи по полку наслаждались в Виндзоре, и сидеть взаперти с дедушкой, который питал к нему такого же рода расположение, как к своим пергаментным актам! И тут еще приходится чувствовать отвращение на всяком шагу к управлению домом и имением! При таких обстоятельствах человеком необходимо овладевает дурное расположение духа, и он старается избавиться от раздражения, прибегая к какому-нибудь сильному ощущению.

– Солькельд выпивал бы каждый день по бутылке портвейну, – ворчал он про себя, – но я еще недостаточно приучился к этому. Хорошо же, так как я не могу отправиться в Игльдель, то я поеду на Раттлере сегодня утром в Норберн и позавтракаю у Гаве на.

За этим определительным решением находилось другое, подразумеваемое. Если он будет завтракать у Гавена и заболтается там, то возвратится на Лесную Дачу только около пяти часов и не увидит Хетти, которая в то время будет уже находиться в комнате экономки, и когда она отправится домой, в то время он будет отдыхать после обеда, таким образом, он вовсе не встретится с нею. Действительно, что тут было дурного в его расположении к милому созданию? И для того, чтоб посмотреть только с полчаса на Хетти, можно было решиться протанцевать с дюжиной бальных красавиц. Но может быть, лучше было бы ему не обращать на нее больше никакого внимания, ведь, пожалуй, в самом деле заберется какой-нибудь вздор в ее голову, как намекал Ирвайн, хотя Артур, с своей стороны, думал, что оскорбить девушку было вовсе не так легко, как обыкновенно полагают, он даже находил, судя по своей опытности, что девушки были гораздо хладнокровнее и хитрее, нежели он сам. Что ж касается действительного вреда для Хетти в этом случае, то об этом нечего было и спрашивать – и в этом отношении Артур Донниторн отвечал за себя с совершенной уверенностью.

Таким образом, полуденное солнце увидело его скачущим в направлении к Норберну; к счастью, гальсельская поляна лежала на его пути и дала Ратлеру возможность сделать несколько удачных скачков. Для заклинания демона нет ничего лучше отчаянных скачков по кустам и рвам; и в самом деле надо удивляться, что центавры, с их огромными преимуществами в этом отношении, оставили в истории столь дурную славу.

После этого вы, может быть, с удивлением услышите, что хотя Гавен был дома, но стрелка солнечных часов на дворе едва лишь прошла последний удар трех часов, как Артур уже снова въехал в ворота, слез с запыхавшегося Ратлера и вошел в дом, чтоб позавтракать на скорую руку. Но я думаю, что и после Артура существовали люди, которые делали верхом большой круг для того только, чтоб избежать встречи, и потом возвращались торопливым галопом из опасения, что опоздают встретить. Это любимая хитрость наших страстей: сделать ложное отступление и потом быстро обратиться на нас в то время, когда мы уже думаем, что выиграли дело.

– Капитан ехал чертовским шагом, – сказал Дальтон, кучер, фигура которого резко выступала, так как он курил трубку, об ратившись к стене конюшен, когда Джон водил взад и вперед Ратлера.

– А я желал бы, чтоб сам черт чистил лошадей для него, – ворчал Джон.

– Конечно, у него был бы тогда грум гораздо обходительнее теперешнего, – заметил Дальтон.

Острота показалась ему такую хорошей, что, оставшись один на сцене, он продолжал по временам вынимать трубку изо рта, чтоб кивнуть воображаемым слушателям, и сладострастно содрогался от безмолвного брюшного смеха, затверживая наизусть разговор с самого начала, для того чтоб впоследствии с эффектом пересказать его в людской.

Когда Артур снова вошел в свою уборную после завтрака, то не мог избежать, чтоб прения, которые он имел с самим собою в этот же день утром, снова не пришли ему на память, но теперь ему было невозможно настаивать на этом воспоминании – невозможно было вспомнить чувства и рассуждения, которые тогда произвели на него столь решительное действие, точно так, как он не мог припомнить особенное благоухание воздуха, освежившее его, когда он утром открыл свое окно. Желание видеть Хетти стремительно возвратилось к нему назад, как дурно удержанный поток; он сам изумился силе, с которою эта простая фантазия, по-видимому, охватывала его, он даже несколько вздрогнул, когда стал причесывать себе волосы – ба! это происходило от опасной езды! это происходило оттого, что он из пустой вещи сделал серьезную, думая о деле, как будто оно имело какую-нибудь важность. Он потешит себя тем, что посмотрит сегодня на Хетти, потом навсегда выбросит мысль о ней из своей головы. И во всем этом был виноват Ирвайн. «Если б Ирвайн не сказал ничего, то я думал бы о Хетти вдвое меньше, нежели о хромоте Мэг». Однако ж сегодня именно как нельзя лучше можно было понежиться в эрмитаже, и Артур думал отправиться туда и окончить «Зелюко» доктора Мура до обеда. Ведь эрмитаж находился в сосновой роще – на дороге, по которой Хетти должна была идти непременно из господской мызы. Итак, что могло быть проще и естественнее: встреча с Хетти была одним лишь случаем его прогулки, а не предметом ее.

Тень Артура порхала между крепкими дубами Лесной Дачи гораздо скорее, нежели можно было ожидать от тени утомленного человека в теплое послеобеденное время; еще не было четырех часов, когда он стоял уже перед высокой, узенькой калиткой, которая вела в очаровательный лесной лабиринт, служивший опушкой одной стороны Лесной Дачи и называвшийся сосновой рощей, не потому, что там было много сосен, а потому, что их было там немного. Это был лес буковых деревьев и лип, там и сям виднелась легкая, серебристая береза – такой именно лес, какой чаще всего посещается нимфами. Вы видите их белые, освещенные солнцем члены, сияющие сквозь сучья или проглядывающие из-за гладкого очертания высокой липы. Вы слышите их мягкий, журчащий смех; но если станете смотреть слишком любопыт-

ным, святотатственным оком, то они исчезнут за серебристыми буками, заставят вас поверить, что их голос был только текущий ручеек, быть может, превратятся в бурю векшу, которая убежит от вас и станет издеваться над вами с самой верхней ветки. То не была роща с размеренной травой или укатанным песком, по которым вы могли бы ходить, но с узкими, неверными, земляными тропинками, которые были опущены слабыми отростками тонкого мха, – тропинками, которые, казалось, были сделаны свободной волей деревьев и кустарников, с уважением раздвигавшихся на сторону для того, чтоб посмотреть на высокую королеву белоногих нимф.

Артур Донниторн шел по самой широкой из этих тропинок, по аллее, образованной буквыми и липовыми деревьями. Было тихое послеобеденное время – золотистый свет слабо медлил на самых верхних ветвях, только там и сям проникая на пурпуровую тропинку и на опушавший ее рассеянный мох, – послеобеденное время, в которое судьба скрывает свой холодный, грозный образ под туманным, блестящим покрывалом, окружает нас теплыми, мягкими крыльями и заражает легким дуновением, напоенным благоуханием фиалки. Артур шел совершенно беззаботно, с книгой под мышкой. Он, однако ж, не смотрел на землю, как обыкновенно делают люди, предающиеся размышлениям, его глаза все устремлялись на отдаленную извилину дороги, около которой скоро должна была показаться небольшая фигура. А, вот она идет: сначала блестящая цветная точка, подобно тропической птичке между ветвями, потом фигура с легкой поступью, с круглою шляпкой на голове и небольшой корзинкой в руке, потом покрасневшая, почти испуганная девушка, но с ясной улыбкой, сопровождающая свой поклон смущенным, но счастливым взором, когда Артур подошел к ней. Если б у Артура было только время подумать о чем-нибудь, то ему показалось бы странным, что он также чувствовал себя смущенным, и, как он сам сознавал, также покраснел – в самом деле он смотрел и чувствовал так безрассудно, будто был поражен изумлением, а вовсе не встретил именно того, что ожидал. Бедные создания! Как жаль, что они не были в этом золотом возрасте детства: тогда они стояли бы друг к другу лицом, смотрели бы один на другого с робкою приязнью, потом поцеловались бы, как бабочки, и переваливаясь, как все дети, стали бы вместе играть. Артур отправился бы домой к своей кровати с шелковыми занавесами, а Хетти – к своей сделанной дома подушке, и оба они спали бы без всяких мечтаний, и их завтрашняя жизнь едва ли сознавала бы – что было вчера.

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «ЛитРес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на ЛитРес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.